

КРИВОШЕИНА Н.

УЛЬЯНОВСК В 40-50-Х ГОДАХ XX  
ВЕКА ГЛАЗАМИ ЭММИГРАНТА

## ЧЕТЫРЕ ТРЕТИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Часть 3 - СССР (1948 -1974) (Отрывок)

### ... Шестеро в теплушке

Утром 15-го оказалось, что мы уж катим. Поезд идет не спеша, медленно плывут сады, белые домики с крытыми балкончиками, во дворе -- кирпичная летняя плита... И бесконечные фруктовые сады, где все деревья под корень срублены немцами - удивительно даже что им хватило и упорства, и времени извести столько садов! Скоро уж десять часов, пить хочется безумно, да и поесть бы не плохо. У меня с собой походная спиртовка и сухой спирт, и чашечка, где можно заварить чай или кофе. Расставляю все на своих нарах, наливаю воды из белого ведра, скоро вода кипит, кладу щепотку чая и достаю черные сухари. Зову Никиту, ищу колбасу, чтобы отрезать ему кусочек. Но колбасы нет, в чем дело ? Наконец, Никита говорит: "Мама, я ночью проснулся и был такой голодный, что достал и съел кусочек". -- Молчит минутку, все нас слушают, Гриша тоже... -- "Ну и что?" -- "Да вот, я не заметил, оказалось, что все съел". Это был момент настоящего отчаяния, и я вдруг почувствовала, что сейчас разрежусь. Ведь больше, кроме мешка сухарей, у нас ничего нет на все время вплоть до Ульяновска... Взяв себя в руки, спрашиваю Гришу: "А когда же первая станция?" Он отвечает не сразу, видит, что я еще не все поняла, "не допоняла". -- "Да остановка будет, когда понадобится машинисту, да не на обычной станции, а на товарной". -- "Ну, а там буфет есть?" -- "Какой там буфет, разве что бабки вынесут продавать, да и продавать-то некому, у машиниста харч с собой". Вот так, теперь все ясно; пью чашку чая, грызу кусочек черного сушеного хлеба -- он вкусный, понемногу тает во рту, как леденец.

Колеса стучат, степь плывет, становится очень жарко, время остановилось. Один Гриша спокоен и ясен -- он на посту, исполняет задание, у него вопросов нет. А мы? Мария Вас. Постовская, с которой я здесь впервые поближе познакомлюсь -- и буду ее потом в течение пяти лет встречать в Ульяновске -- надо думать уж сейчас, в этой теплушке, где на стрелках нас встряхивает и чуть не валит с ног -- все "допоняла"... Она молчит, с утра обтирает руки, лицо, шею какими-то притираниями, умело подмазывает лицо, накручивает вокруг головы изящный яркий тюрбан и хотя она значительно старше всех -- в синих штанах (правда джинсов еще не родилось, но синие брюки уж многие дамы носят) и красном пуловере выглядит моложе нас всех. Да она и просто очень красивая, у нее прекрасные, тонкие черты лица. Она помалкивает, сидит картинно у открытой двери теплушки и изредка, обращаясь к Грише, с глубоким вздохом восхищенно восклицает: "Ах! А красота-то какая!" На Гришу привычный вид родной степи мало действует. Он с нами любезен, услужлив, но... все время на чеку; рассказы о всяких грабежах, о воровских шайках, о банде "Черной кошки", орудовавшей несколько лет в Одессе в конце войны -- все это, видно, его тревожит.

Остальные дамы относятся ко мне холодно, почти враждебно; правда, все давно поняли, что Гриша -- это наш якорь, наша единственная надежда доехать до

Ульяновска, не застрять на много дней на каком-то запасном пути, не умереть от голода и жажды.

Гриша понимает, что мы сами себе ничего съедобного достать не в состоянии. Поезд останавливается лишь на больших сортировочных станциях, стоит он среди других товарных составов. Все неподвижно, никакого прохода никуда нет -- разве что проползти под составом и под следующим тоже и рисковать тем, что один из этих бесконечных поездов внезапно тронется. И тогда, когда он, наконец, медленно двигаясь, освободит свой путь -- возможно, что наш собственный поезд тоже двигается, или же ушел -- куда? Кто его знает! Может быть его просто переформировывают, а может быть он тоже, очень медленно, однако ушел совсем! Гриша исчезает на станциях а мы, спрыгнув ненадолго с вагона и поразмяв ноги, живенько вскакиваем назад в наш деревянный дом на колесах. Страх остаться одному, без копейки, без настоящих документов -- сильнее всего. Когда Гриша возвращается, мы все облегченно вздыхаем, он часто весь красный и взволнованный -- говорит, крепко спорил с начальником товарной станции: "Поймите, у меня груз - люди! Я не могу их сутки на жаре держать -- перецепляйте, живо! Иногда он грозит, что напишет или телеграфирует (!) жалобу какому-то мифическому военному начальству и видно, этот последний аргумент действует на начальника товарной станции. Гриша машет какими-то документами с печатями, кто его знает, кого это он везет? Уж лучше пропустить. И вот наша теплушка в каком-то приступе подвижности начинает снова стучать по рельсам, катит одна "под горку", чтобы с размаху стукнуться о другой состав; но и этого мало, неведомый и невидимый нам паровоз - другой, с обратной стороны -- двигает нас теперь назад и с истинным садизмом припаивает к каким-то невидимым нам бесконечным составам товарных вагонов и цистерн. И вот мы опять безнадежно стоим все на той же станции. День идет к концу, и вдруг, свисток, скрип досок и тормозов, хлопанье буферов -- и мы опять в пути.

Гриша пытается нам достать что-нибудь съедобное, он бегает за свежей водой. Съедобная добыча у него редко богатая -- или молоко, или ряженка, подчас круглый пшеничный хлеб, кстати, очень вкусный. Как-то достал он нам несколько яиц, другой раз немного охотничьей колбасы. Я ничего молочного не ем с тех пор, как себя помню, и даже в эти голодные дни с ужасом отворачиваюсь от варенца с густой розовой пенкой. Все остальные, однако, едят; хлеб бывает почти каждый день. Интересно, как бы это все было без Гриши? Как питаются в другом вагоне Рыгаловы и Толли? Наверно, молоденькие девицы Таня Толли и Марианна Рыгалова бегут вслед за Гришей...

Гриша также занимает нас рассказами про Черную Кошку и других бандитов. Он просит и нас тискать ему романы, кто что помнит. Вот к этому никто из нас не подготовлен, да и что ему может быть интересно из того, что мы могли бы рассказать? Тогда он сам начинает роман -- он длится целых три вечера -- про "Василия, который был племянник Микадо". Мы делаем вид, будто верим, что так все и было. Это -- первое правило игры, и все его сразу поняли. Впрочем, я про этого самого "племянника Микадо" еще не раз услышу в Ульяновске и даже позднее в Москве, уже в середине пятидесятых годов. Эта байка крепкая, и всем она ужасно

нравится, а главное, там вечный русский герой: был сперва вроде бы и совсем никто, а на самом деле оказался царского рода -- это всем слушателям, да и рассказчику, особенно приятно. Но есть и другой роман. Этот уж просто переделка из Александра Дюма-отца.

Однако дни тянутся в теплушке бесконечно, и кто-то из дам предлагает Никите поиграть в карты, сперва в "подкидного", а потом и в "белот", классическую народную игру во Франции. Никита немного умеет, и тогда начинают и Гришу учить "белоту" -- он в восторге, воспринимает все очень быстро, с азартом шлепает карты с восклицаниями: "А я иду под вальта". -- "А у меня на это есть крести!" Наш коллектив, огороженный досками вагона, совсем сплотился и даже подружился -- тут даже есть что-то очень хорошее, и об этом приятно вспомнить.

Всему бывает конец, и горячим майским утром наш состав въезжает на Ульяновскую-Сортировочную. С тем другим вагоном, идущим на Куйбышев, мы расстались на большой товарной станции Рузаевка. Гриша прикреплен к нам, и те две семьи - Толли и Рыгаловы -- дальше следуют одни -- их одиссея до Куйбышева от Рузаевки без Гриши -- сплошной ужас. Она длится чуть ли не две недели; днями они простаивают в жестокую жару среди сотен перегретых вагонов и лишены возможности достать что-либо поесть или хотя бы чистой питьевой воды! Вот он, Гриша-то!

Игорь Александрович не без труда находит нас на товарной станции. Тут же и Постовский, и Качва. Знакомлюсь с Постовским. Наш багаж привезут позже на грузовике, а мы едем на машине, которую предоставил по этому случаю завод, где работает Игорь Александрович, прямо в гостиницу "Россия" -- единственную во всем городе, и где Игорю Александровичу дали с утра просторную комнату. Никита плохо себя чувствует -- от пыли, жары и плохого питания у него внизу нога сделался громадный нарыв, который его мучает, и он еле ходит. Наконец, можно помыться, прийти в себя. Игорь Александрович спрашивает: "Что теперь делать?" -- "Обедасть", -- отвечаем мы в один голос с Никитой. -- "Ведите нас в ресторан, где повкуснее, есть хочется ужасно". В пути это не чувствовалось. Идем по улицам советского провинциального города, машин почти нет, лошадей, конечно, тоже; зато изредка встречаются быки, запряженные в древние телеги -- везут керосин, кирпичи, песок. Тротуар есть, но весь в выдолбинах, местами асфальт просто исчез -- говорят, его сожгли в войну, когда были ужасные морозы. Входим в военную столовую, там чисто, отдельные столики, покрытые чистенькими накрахмаленными скатертями, за многими столиками сидят молодые офицеры, тоже чистенькие, подтянутые, с довольными, спокойными, вполне сытыми лицами. С прежними дореволюционными офицерами эти лица ничего общего не имеют -- совсем другие. Все другое, хоть форма и напоминает что-то родное. Впрочем, лица их очень русские, они все русые, румяные. В ожидании обеда за соседним столом заказывают водку -- каждому приносят по стакану -- 200 граммов -- и тарелку черного хлеба. Они поднимают стаканы с удовольствием и... пьют сразу, одним длинным глотком -- вот это я вижу первый раз в жизни... Но ничего, все спокойны, кое-кто закусывает корочкой черного хлеба, далеко не все. Наблюдаю за ними с величайшим удивлением. Игорь Александрович говорит мне: "Тут все так пьют, двести граммов -

- обычная порция, это ведь офицеры из Первого Танкового училища, ни один из них никогда не появится на улице выпивши". И правда, юные офицеры чуть порозовели и продолжают вести тихими приличными голосами беседу.

Мы с Никитой наелись всласть, потом днем немного погуляли по знаменитому Венцу, и довольно рано, после чая, ложимся спать... Да и ровно в 11 вечера электричество выключили; у нас в номере стоят целых три свечи в старинных подсвечниках. Никита на диванчике около окна в одно мгновение засыпает, а я так устала, что разговаривать просто не способна. Игорю Александровичу надо завтра рано на завод, а это довольно-таки далеко... Все спят, и я, несмотря на вечную бессонницу, задремываю. Рядом со мной на стуле свеча и коробка спичек. Дверь в коридор я заставила стулом. Откуда-то с нашего этажа все еще несутся пьяные крики, суета, женский визг...

Сколько времени прошло? Наверно минут двадцать. Просыпаюсь будто кто-то меня сильно толкнул, все еще неясно в голове - ясно только, что в нашей комнате творится что-то ужасное... Чиркаю отсыревшие спички, раз, другой, свеча горит -- со стола посередине комнаты на меня злыми красными глазами нагло смотрят громадные крысы... они деловито рвут Никитин рюкзак, который лежит на столе и где осталось немного пшеничного хлеба с пути... Но и на полу идет громкая возня, писк; освещаю угол -- там четыре крысы что-то из наших вещей тащат в угол; там ими прогрызена громадная зияющая дыра! Достаяю с соседнего стула свою альпийскую палку, замахиваюсь на крыс, и они на некоторое, весьма короткое время, куда-то исчезают, но скоро снова все тут и грызут и тащат к себе все, что им нравится. Пытаюсь разбудить Игоря Александровича, но что он может сделать? Он отвечает мне сонным голосом, что во всех комнатах гостиницы то же самое, и что приходится с этим мириться... и крепко засыпает... К шести утра, когда уже совсем светает, на моем стуле догорает последняя свеча, крысы сами уходят к себе домой в угол, ну теперь хоть немного заснуть... Но нет, не тут-то было... На громадном плацу, прямо под окнами, стройными рядами появляются курсанты младшего курса Первого Танкового училища и в течение часа проделывают под музыку духового оркестра гимнастику всякого рода -- все тот же напев, надрывно-грустный, безнадежный повторяется и еще, и еще. Кладу думку на ухо, пытаюсь заставить себя хоть подремать, но печальные трубы льют и льют свою музыку. Я, наконец, встаю и смотрю в окно на безупречно слаженную гимнастику юных курсантов. Площадь грязная, пыльная, голос военного мастера спорта однообразно выкрикивает команду, опять, опять, льется тот же полумарш-полуполька -- дико, страшно... Мне и сейчас еще кажется, что все это было только что, вчера, что юнкера эти так и до сих пор маршируют по пыли в горячее майское утро, что также шлепаются и пищат в комнате крысы, что в коридоре визжат и бегают пьяные жильцы... Но площадь давно уж заасфальтирована, Первое Танковое много лет как перестало существовать, гостиница та -- закрыта, а новая, тоже носящая название "Россия", переехала в бывшее здание НКВД, где чисто, аккуратно и крыс нет. А кто из туристов, приезжающих теперь в Ульяновск посмотреть "Ленинский Мемориал", знает о том, что он живет в тех же стенах, в том же здании, где когда-то давно, в пятидесятые годы, было НКВД?

## Ульяновск (1948-1954)

Мы прожили в СССР двадцать четыре года, из них я провела почти шесть лет в Ульяновске и потом, с 1955 г. -- вплоть до отъезда назад в Париж -- в Москве. Слова: "назад", "отъезд" в данном случае почти теряют смысл - когда тут, собственно, что было? Однако, в данное время (1979 год) вот уж пять лет, как мы снова живем в Париже, и идет последняя, "четвертая треть" нашей жизни. К сожалению, когда я жила там, то никогда ничего не записывала -- оно и понятно, а потому придется писать только по памяти, пытаюсь держаться того, что тогда там думалось и говорилось, а не теперь уже здесь, где все, что хочешь, можно и говорить и записывать...

И следует ли считать наш путь назад в Париж в 1974 г. -- провалом, а наш отъезд в СССР в 1948 г., в одну из самых жестоких вспышек террора -- идиотским поступком, внушенным "ура-патриотизмом" и абсолютным непониманием того, что нас там ждало? У меня на эти, до сих пор жгучие вопросы бывают (и по нынешний день) разные ответы...

В Ульяновске мы сразу попали в ведение Ульяновского Отдела Переселенческого Управления. Возглавляла его Вера Григорьевна Золинова: лет сорок пять, лицо татарского типа, неприятное, жесткое; манеры резкие, голос обычно знал один тон, одну модуляцию приказ..., но изредка, если нужно, и слащавая вежливость, будто участие, будто интерес к вашей судьбе. Однако полного презрение к нам "реэмигрантам", она не могла скрыть, и рассовывать этих *сi-devant*, этих ненавистных парижан на самые низкие работы в городе доставляло ей осязаемое удовлетворение.

Откуда только пошло это, противное всякой словесной логике, название "реэмигранты" (если нас и вообще-то надо было особе отделять от иных обычных советских людей!) -- но никто никого моих объяснений не понял или не хотел понять.

Первое время, недели две-три, мы прожили в гостинице, потом получили через Переселенческий Отдел "жактовскую" комнату в деревянном старом доме, в квартире, где жили Николай Васильевич Романов и его жена Александра Федоровна, люди уже немолодые, слащавые до приторности -- он бывший счетовод и... бывший ктитор и регент хора в уже не действовавшей в то время церкви, она -- отличная белошвейка, и повариха, и первоклассная хозяйка. Комната наша была не так мала и не так плоха, а в сравнении с другими жилищами той эпохи могла сойти и за первоклассную. Но очень скоро оказалось, что стена, отделявшая нас от Романовых, не стена, а просто фанерная перегородка, не доходившая до потолка сантиметров на пятнадцать -- таким образом, если мы слышали все, что говорилось у Романовых, то они еще лучше слышали нас. У них была вторая комната, столовая, и оттуда ничего не доходило, а они, притаившись в своей спальне, слышали нас постоянно. От этого позже произошло много горестей, тогда только мы и поняли, почему нам "дали" такую комнату, вызывавшую у остальных "реэмигрантов" нескрываемое чувство зависти.

Дом был далеко от центра, автобус ходил когда хотел: иногда ждешь, ждешь, и идешь наконец пешком, и тут, конечно, автобус нагоняет, и часто полупустой... а идти до центра было два километра, и никаких магазинов кроме булочной на всем пути не было. Впрочем, для того, чтобы жить и выжить в Ульяновске в эти годы, надо было быть "при здоровья": концы длинные, и все тащи на себе. Последние два года, что я жила в Ульяновске, там появились такси, в некоторых домах телефоны -- ну, а первые годы были жестокие, что и говорить.

Но и тогда все валили на войну, да и сейчас, через тридцать пять лет, тема войны не исчерпана: мол, не будь войны... А самого Ульяновска война и не коснулась, но я не сразу это поняла и думала, что тут, верно, немцы похозяйничали. Когда мы ехали на грузовике налицу Рылеева 22, где было наше будущее жилище, я впервые увидела отдаленные от центра улицы, и была уверена, что вижу следы бомбежки... Я ехала в кабине грузовика, водитель был совсем мальчишка, но объезжал феноменальные ямы и провалы в мостовой удивительно ловко; я обернулась к нему и сказала: "Ну, видно, город не раз бомбили, до сих пор следы остались!"; он долго ничего мне не отвечал, и я подумала, что он обиделся... но он наконец ответил: "Нет, нет, тут и вообще немец никогда не был", - помолчал и добавил: "Бомбежки тоже не было". Я подумала, что лучше мне побольше молчать!

Пришли на Рылееву мои три большие плетеные корзины, которые проделали длинный путь в трюме электрохода "Россия", потом стояли немало в таможене одесского порта, ехали со мной в теплушке из Одессы до Ульяновска и наконец, пребывали немалое время в камере хранения гостиницы "Россия". Александра Федоровна Романова с нескрываемым любопытством вертелась вокруг нас, когда мы раскрывали злосчастные эти корзины, в которых содержалось все наше имущество после двадцати пяти лет жизни в Париже... Особенно похвастать было нечем. К тому же содержание корзин оказалось порядочно разворованным -- исчез костюм который я везла Игорю Александровичу, сапоги из лучшего обувного магазина на Champs-Élysées, исчезли десять больших катушек ниток, двадцать пакетов иголок, кремни для зажигалок -- да словом, почти все, что легко можно было продать -- сейчас всего к не вспомнишь! А спрашивать было не с кого, ведь у меня никакой страховки не было... верно, поработали и в трюме на "России", и в камере хранения в гостинице. Но теплые зимние вещи чудом не тронули -- ни мои, ни Никитины. Надо было нам тогда, тут же, преподнести что-то "парижское" чете этих Романовых -- увы, тогда в голову не пришло... А впрочем, дари не дари, судьба наша была уже не в наших руках. К тому же мы их с самого первого дня побаивались, но всячески старались им не показывать, не сознаваясь в этом и себе самим. А они немедленно стали звать нас к себе, угощать, отлично накрывали стол, и Александра Федоровна в русской печи пекла удивительные пироги, роскошные блины, и даже делала пельмени...

В это первое лето шли какие-то бесконечные встречи и собеседования у Веры Григорьевны, осмотры всей нашей группой ленинских памятных мест и тому подобное[\*], а приехало в Ульяновск за этот год около сорока человек - и большинство из них там так и застряло. Игорь Александрович продолжал работать

на заводе -он был эвакуирован во время войны из Харькова и размещался в каком-то ужасающем строении недалеко от базара; цеха были душные, вентиляции совсем не было; многие станки были в самом плачевном состоянии; существовала и некая испытательная лаборатория. Рабочие были почти все из Харькова, управление тоже; в нем были все больше евреи, кроме директора завода, который, как полагалось, был русский. В это время им был некто по фамилии Дубовой, который будто и инженером вовсе не был, человек не злой, не добрый -- никакой; любил возиться с автомобилями в заводском гараже -- разбирать и собирать! Но и крепко любил выпить. Тогда его увозили домой. Мне кажется, что к Игорю Александровичу на заводе относились очень хорошо, хорошо его встретили, он получил назначение на этот завод от Министерства Электропромышленности, словом, его положение на этой работе было вполне законно и как будто, прочно. И рабочие, и технический персонал очень скоро поняли, что у Игоря Александровича теоретическая и практическая подготовка много выше, нежели у остальных, и оппозиции к себе как к чужаку или бывшему белоэмигранту он там не встречал. Но вполне вероятно, что в руководстве завода, в верхней группе инженеров и были затаенная злоба и зависть. Возможно, они опасались, что вдруг кто-то из мастеров ответит: "Нет, Кривошеин иначе указал нам эту деталь изготавливать, и мы уж так и будем!" Зарплата была вполне приличная, а главное, в то время на заводе еще вполне законно работал ОРС (Отдел Рабочего Снабжения), и многие продукты Игорь Александрович просто покупал в лавке на территории завода, куда никто посторонний входить не мог. Пропуск, пропуск -- всюду были дежурные вахтеры: у входа в "проходную", да и из одного цеха в другой или на склад тоже нужен был пропуск. В ОРСе Игорь Александрович покупал все, что так трудно было достать: сахар, варенье, мыло, муку, масло; я тогда над этим образом снабжения и не задумывалась, а ведь это как раз и была одна из весьма умных привилегий -- снабжать "своих" всем, чего было просто не купить в городе; да и через заводскую организацию можно было тоже запастись на всю зиму дровами, а никакого отопления, кроме печного, в Ульяновске тогда не существовало.

Словом, дебют нашей жизни в Ульяновске можно считать более чем благополучным.

Первое время мы встречались исключительно с такими же, как мы, то есть приехавшими из Франции в 1947-1948 гг. Эмигрантов из Шанхая там совсем не было, кой-кого из них я встретила в шестидесятые годы в Москве. Но ходили друг к другу мало и редко, город был, как многие волжские города, вытянут в длину над рекой, на высоте 100 метров, концы громадные, сообщения фактически никакого -- все по образу пешего хождения. Так что ходили разве что в воскресенье днем -- "в выходной". За первый год жизни в Ульяновске у нас наладились неплохие отношения с Марией Васильевной Постовской и ее мужем, генералом Владимиром Ивановичем Постовским; им жактовской комнаты не дали, но они сразу сняли просторную комнату в старом каменном доме и отлично ее обставили, так как в знаменитом контейнере, погруженном на "Россию" в Марселе и тоже ехавшем в нашей теплушке -- была вся их мебель, вся кухонная утварь, занавески, ковры. Их комната вскоре прославилась на весь город -- мебели нигде в Ульяновске не продавалось, ни занавесочки, ни, конечно уж, ковра купить было немыслимо, а про



кастрюли или сковороды, или просто стаканы и говорить нечего... Все, все, что так или иначе касалось обычной человеческой жизни и быта, в продаже отсутствовало...

Владимир Иванович Постовский был тот казачий генерал, который был в гражданскую войну побежден Ворошиловым, и об этом писал Алексей Толстой в повести "Хлеб"; таким образом, Постовский был "исторической личностью"; на стене в их комнате висели его казацкая нагайка и кубанка; жена, изящная, красивая женщина, умела из любой пестрой тряпки скрутить прелестный тюрбан. Эта пара всем в Ульяновске нравилась, и у них довольно быстро появились местные знакомые, даже "на верхах". Я у них бывала: поездка в теплушке, одесский лагерь Люстдорф нас сблизил, хоть и были мы люди очень разные -- ну, да теперь стали просто ульяновские жители. Вскоре познакомилась с Мишелем Провальским, зубным врачом, работавшим уже год в местной поликлинике и с его женой, природной жительницей Берлина; говорили мы с ними по-французски - оба они по-русски изъяснялись средне - и это тоже объединяло. Мишель и его жена Маргерит были во Франции членами компартии; разумеется, они в Ульяновске ничего не критиковали и не осуждали. Впрочем, и не они одни, а конечно, и все мы, приехавшие на Родину с большой буквы. Кстати, среди приезжавших в эти годы из Франции, были и другие члены французской компартии -- здесь никого из них в партию не приняли.

В общем, репатриированных из Франции в Ульяновске оказалось около сорока человек: почти никто друг с другом раньше знаком не был, а здесь, в Ульяновске, нас всех объединили вопросы самого примитивного и подчас драматического характера -- многих местные соседи приняли в штыки или недружественно, однако открыто этого выразить не смели, а только так, втихаря: ведь мы все получили советское гражданство по Указу Правительства - значит и рассуждать нечего!

Александр Иванович Угримов с Надеждой Владимировной оказались неподалеку от нас: "Дедушка" (я теперь буду его так звать, мы все всегда про него так говорили) был назначен на опытную селекционную станцию в Майне[\*], в ста километрах от Ульяновска, и когда он по делам станции приезжал в город, то всегда к нам заходил. Его сын Шушу работал в Саратове инженером на мельнице, а Ирина Николаевна и Татка сразу из Одессы поехали в Москву к сестре Ирины Николаевны, Татьяне Волковой, и сперва решили пожить лето на Николиной Горе, на даче, принадлежавшей ранее отцу их Николаю Константиновичу Муравьеву, и уже осенью переехать в Саратов, где Шушу обещали дать сносное помещение, а пока он жил тесно, в плохонькой комнатухе.

В это первое лето было много хлопот -- надо было Никиту устроить в школу, купить дрова на зиму, обзавестись самой примитивной мебелью -- купить или заказать кровати, стол, шкаф для одежды -- тут тоже много помог ОРС, заводские мастера занедорого смастерили нам отличный шкаф, табурет, стол -- а кровати железные, жуткие, но хорошо, что и такие удалось купить.

Никиту приняли в седьмой класс, по-русски он знал недурно, ему сделали небольшой экзамен, и он попал в ту самую школу, что окончил Ленин, -- нам

объяснили, что это великая честь. В августе В.Г. Золинова устроила Никиту в пионерлагерь, где-то в лесу неподалеку, и он там пробыл три недели: боюсь, что ему там нелегко пришлось, однако никто его не обижал и не смеялся над его короткими летними штанами из Парижа -- тут все ребята как один были в длинных брюках, перешитых бабкой или матерью из старой юбки; купить что бы то ни было в магазинах было немыслимо, ничего "промтоварного" просто не было в помине, а если что и "выбрасывали", то сразу вырастала такая очередь -- страшно вспомнить! В этих очередях царили татарки и чувашки, их много было в городе, они стрекотали на своих никому непонятных языках и дружно лезли вперед - я очень скоро поняла, что становиться в очередь безнадежно, но пока был ОРС, все как-то устраивалось.

Эти первые месяцы жизни в Ульяновске трудно вспомнить или вернее, сейчас вновь почувствовать. Сразу обозначилось, что люди делятся на две категории: или злобные, полные ненависти к нам, преступные (так как каждым своим словом и делом поддерживали преступную власть и конечно, себе в выгоду) -- или же люди милейшие, приветливые, без грубых, циничных выражений -- вроде "а я бы ему дала двадцать пять -- знал бы, как это деду дерзить" - нет, эти люди никому ни десяти, ни двадцати пяти не желали, они стремились хоть как-то нас предупредить, поддержать и очевидно, с ужасом думали, что мы ничего еще не поняли -- они искренно жалели нас.

На улице Рылеева, в нелепом деревянном доме с неожиданными пристройками и помещениями, была со стороны двора-пустыря квартира, где жила молоденькая докторша, военная вдова с шестилетней дочкой, отцом и мачехой. С июля месяца у меня начались внезапные сердечные приступы-перебои, ускоренный или наоборот замедленный пульс и самое мучительное -- удушье: казалось, вот-вот, и уж больше и не вздохнешь. Она ко мне приходила, давала какие-то капли -- а ведь лекарств в аптеках тогда почти и не было... А главное - она около меня сидела, клала мне грелку к ногам и что-то говорила успокоительное... Вечерами я стала к ней заходить; вскоре ее мачеха, женщина с лицом суровым и мало-таки приятная, начала тоже что-то говорить про наших соседей Романовых. Конечно, осторожно, но как-то сказала она и такое: "Я к ним просто не хожу, боюсь их". Это уж было отважно. Ну а наша Александра Федоровна Романова начала на эту мачеху "капать", будто какие-то тут были денежные истории; выходило, что мачеха мужнину дочку -- докторшу -- обокрала, да и вообще язык у нее злой, и лучше от нее подальше...

А на верхнем этаже, над нами, с соседнего крыльца жила некрасивая и простецкая женщина с тремя детьми: сын лет двадцати с лишним, побывавший коротко на войне, дочка лет восемнадцати и младший, Егорка, лет десяти, совсем одна уж худоба, лицо почти идиотское - военный недокормыш. Понемногу я и эту семью узнала -- их фамилия оказалась Абрамович, а потом выяснилось, что сама

Абрамович была родной сестрой мужа дочки Романовых, Елены Николаевны, жены директора лесничества под Ульяновском. Жила она богато и зажиточно, и фамилия ее мужа была Леснов. Узналось и то, что фамилия его была с детства другая, и что он и его братья переменили фамилию на звучащую по-русски -- уже и тогда еврейское происхождение некоторые пытались скрывать.

Мы пытались войти в общий ритм жизни. Первого сентября Никита пошел в школу; сперва все шло удачно, он был хорош, подготовлен, нашел себе даже друзей, и один мальчик, живший рядом с нами, сын офицера, стал его звать к себе домой. В середине сентября мне предложили вести три группы по немецкому и английскому языку в местном Пединституте, где была нехватка преподавателей иностранных языков -- хотелось мне сперва отбиться, ведь я никогда еще не преподавала, а тут -- я не знала ни программы, ни уровня общих знаний студентов, ни как обращаться с ними. Но... "от труда не отказываются", -- заявила мне Золинова, -- "а ведь вы языки так прекрасно знаете, все говорят, уж неужели не сумеете студентов научить?" -- "Н-да, что ж, попробую", -- и я пошла знакомиться с высшими "бонзами" преподавательского состава Пединститута -- переломный этап в моей жизни, и хоть в Пединституте я проработала всего год, все же некий опыт и решимость начать кого-то "учить" (чего я никогда в жизни делать не собиралась) сам собой явился, и в дальнейшем мне очень пригодился.

Во главе факультета иностранных языков стояли две пожилые дамы; обе когда-то, при царе Горохе, учились год в Сорбонне и окончили там годовой курс для иностранцев. В своем ульяновском Пединституте они преподавали языки с самого его основания; и грамматический, и синтаксический разбор предложения они умели делать прекрасно... Однако сказать самую простую фразу по-французски были не в состоянии. Остальные преподавательницы, молодые. и того не знали и кроме одной, преподавали какую-то теорию, где главную роль играла "транскрибация" -- с этим словом я встретилась впервые, и... сразу, с места в карьер, начала с этой чудовищной штуковиной активно бороться.

Сама властелинша иностранного факультета, Варвара Мирославна, сухонькая, старенькая, приняла меня кратко, велела прийти через три дня с "планом уроков" на первую четверть, сунула мне программу, учебники -- скажу честно, что тут я совсем сплеховала, слабо пыталась ей объяснить, что я понятия не имею, как это "разбить материал" по урокам и по часам -- что это за "материал урока"? Я вернулась домой в полной растерянности.

Когда я через три дня вновь пришла в учительскую института, у меня была с собой пустая тетрадка - никакой план, даже на первую четверть, мне в голову не шел... "Нет, -- сказала строго Варвара Мирославна, -- без плана нельзя, это не разрешается, -- ведь ваш план должен быть проверен и подписан".

И вот тут, когда я, несмотря на все мои знания языков, стояла как провалившийся пригостишка, одна из молодых преподавательниц села рядом со мной в уголке и, взяв лист бумаги, набросала мне примерный план первых уроков. Кто была эта моя спасительница? -- не помню, а жаль; от волнения и неловкости я не обратила на нее внимания.

Однако через неделю план уроков в новенькой тетрадке был у меня разграфлен; в дальнейшем, когда я в течении учебного года вела три межфаковских группы (две английских и одну немецкую), я этого плана никогда не держалась, однако то, что

для себя необходимо каждый урок точно и подробно подготовить, я усвоила скоро и навсегда. Много позже, в Москве, когда у меня были частные ученики, я этого принципа держалась неукоснительно.

Первая встреча со студентами: это было очень страшно, главное было не показать виду, что я новичок, как и они (все три группы были первого курса, и студенты тоже волновались). С одной из английских групп пришлось мне нелегко, другие две быстро наладились; я не скоро запомнила, как кого зовут, но оказалось, что это очень важно, что каждый из них думает, что его-то я как раз отлично запомнила...

Познакомилась я постепенно с деканом, важным и противным, сидел этакой скалой в своем кабинете, а про него рассказывали чуть ли не вслух, что из Германии он привез жене целый вагон мебели; ну, да не он один -- другие ему, верно, завидовали -- вон какой ловкий.

После первой четверти дело вроде шло на лад, или почти, а когда подступил Октябрь, мне пришлось, высунув язык от волнения и страха, что вдруг что-то не так, как требуется -- выбрать несколько октябрьских призывов из Правды, перевести их на английский и немецкий и затем написать на доске для моих студентов.

Вот когда выучка брать себя в руки и делать каменное лицо вполне пригодилась. Со студентами я наладила хорошие отношения, но была строга и держалась несколько свысока. Они скоро поняли, что проклятый английский язык (который им ни к чему, да и стипендию из-за него можно легко потерять!) им без меня не одолеть. А тут я сразу особым голосом им заявила: "Прошу, выньте тетрадки, будьте внимательны и не торопясь, списывайте, что я буду писать на доске - следующий урок буду спрашивать всех, и... выучите наизусть!" -- повернулась к группе спиной и медленно, буква за буквой, стала выводить на доске: "Es lebe unser geliebter Vater und Lehrer..." и так далее, сама, конечно, списывая из своей тетрадки, -- это им как раз было вполне понятно. Когда кончила, подождав, начала по очереди их заставлять читать и правильно произносить "Our Teacher, whom we rever and love...". Вот так-то, а они знали, что если хоть один из них не сумеет эти два-три лозунга прочесть, то неминуемая неприятность, верная двойка, вызов к декану, ну и черт знает что еще!

Первое полугодие закончилось неплохо, я и привыкла к Пединституту и привязалась к некоторым студентам; после урока беседовали мирно и дружески -- какие-то гнезда сопротивления еще впрочем, были, но это скорее были студенты постарше, из-за войны попавшие на первый курс лет в двадцать пять, или же то, что тогда называлось - "он семья погибшего" - то есть отец убит на войне -этих нельзя было трогать, как бы они ни бездельничали.

Но вот грянула ждановщина, и бедная наша старушка Варвара Мирославна собрала всех преподавателей "выслушать и обсудить". Это собрание одно из самых трагикомических событий этой зимы, но и страшное донельзя -- вот когда началась в открытую гнусная заваруха: или молчи, или говори, что велено. Расходились с собрания этого все бледные, друг на друга старались не смотреть.

Как-то еще осенью, я в учительской что-то искала в "журнале", и внезапно набрела на удивительный предмет -- "История английской грамматики", -- что-то мне показалось тут больно замысловатое, принимая во внимание уровень преподавания иностранных языков, -- и заинтересовалась, кто же это ведет такую науку? -- вижу в графе имя: Н.Я. Мандельштам. Неужели? -- Да не может быть! Никого ни о чем не спросила, однако через несколько дней заметила незнакомую женщину с полуседыми рыжими волосами и сразу поняла, что это она.

Еще через несколько дней было у меня "окно", я пошла в коридор и села отдохнуть на твердый диванчик; подняла глаза и вижу -- она сидит на другом конце. Набралась храбрости и спросила: "Простите, вы, кажется, Надежда Яковлевна Мандельштам?" -- Она ответила настороженно и резко: "Да, я, а что?" -- "Да нет - отвечаю, -- ровно ничего, но... простите еще раз, вы вдова Осипа Мандельштама?" -- "Да". Я увидела, что она испугалась ужасно -наверно, в институте никто, кроме тех, "кому следует знать", и не подозревал ничего, или даже не знали, кем был Осип Мандельштам. Говорю: "Видите, в чем дело... вообразите, когда-то, когда я была совсем молодой, в конце 1918 г., мне выпало счастье в одном доме в Ленинграде дважды видеть Мандельштама, да и слышать, как он читал свои стихи... Я ведь до того ничего о нем не знала, а тут было какое-то откровение, такие стихи, да и как он читал!.."

Через минуту мы сидели рядом и беседовали, будто старые знакомые -- и вскоре Надежда Яковлевна пригласила меня к себе. Сперва я одна, а потом и вдвоем с Игорем Александровичем стали к ней заходить, а раза два-три и с Никитой. Она жила в хорошем старом доме, стены были увешаны старинными иконами, которые она собирала; она угощала нас вкусным чаем -- однако, по ее просьбе, об этих встречах я никогда никому не рассказывала.

Она переехала в Ульяновск из Ташкента, где ей было хорошо и спокойно, но из-за больного сердца она не могла выносить тамошней жары.

В эту зиму 1948-1949 г., когда наша жизнь в Ульяновске казалось бы покатила по рельсам, случилось и другое: в конце сентября или начале октября, поздно вечером, постучали в дверь кухни, я открыла, и вошел дедушка из Майны... Он, не поздоровавшись, подошел к кухонному столу, облокотился и с трудом выговорил: "Шушу арестован в Саратове, Ирина в Москве тоже, и Таня (Волкова, сестра Ирины Николаевны) -- все, вот уж в начале августа, я недавно только узнал, теперь еду в Москву хлопотать -- может быть, что и узнаю..."

Мы полночи просидели втроем на кухне, без конца строили предположения: за что? Дедушка все повторял: "Это наверно из-за Тани, у нее муж погиб в лагере в 1942 г., там верно что-то было..." Но мы возражали: она ведь продолжала жить в Москве, дача была за ней, и даже Ирина Николаевна с Таткой почти сразу поехали из Москвы на дачу проводить лето, да и мать Ирины Николаевны, Екатерина Ивановна Муравьева (она тоже ехала с нами в группе на электроходе "Россия") тоже была на даче... Может быть это Ирина Николаевна что-нибудь сказала...? У ней

характер горячий... Казалось нам, и вполне искренно казалось, что кто-то из них в чем-то "виноват"! Ну, а что начался новый страшный приступ террора -- этого мы еще и не замечали; если что в Ульяновске и было, то никто вслух об этом не говорил.

Что еще про эту зиму? В середине зимы Вера Григорьевна Золинова задумала поднести альбом фотографий Молотову от благодарных ему за Указ 1947 года "реэмигрированных", обосновавшихся в Ульяновске. Вере Григорьевне трудно было перечить, хотя замысел был "с душком"... Она возлагала на свой альбом немалые надежды -- а вдруг сам Молотов ей ответит? Этим можно будет козырнуть в Обкоме. Стал фотограф обходить нас всех и снимал... вот мы все с Романовыми у самовара в их столовой распиваем чай, у самого Романова в руках газет Правда; а вот и Никита "готовит уроки", и сидит он за прекрасным письменным столом, на столе... телефон, какая-то статуэтка -- и снимок сделан в кабинете у самой Золиновой: не снимать же Никиту на кухне, где он и готовит уроки, и обедает, и спит? Та же Золинова изготовила письмо к Молотову, и все мы принуждены были его подписать!.. Никита буянил, не хотел сниматься, я злилась ужасно -- на себя, конечно: не очень-то мы храбрые, никому из нас не пришло в голову взять да и отказаться. Кстати, после отсылки альбома в Москву, мы никогда больше о нем не слышали... Видимо, Молотов не ответил, и усердие Веры Григорьевны осталось незамеченным. А может быть, она и просто его не отсылала никуда, а отнесла в Ульяновское областное отделение МГБ на улице Карла Маркса? Среди сорока заграничных жителей Ульяновска был некий небанальный человек, уже сильно на возрасте, одинокий, проживавший в гостинице; он был не то артист, не то танцор или фокусник, фамилию его не помню, мы все звали его Барабанщик; он говорил, что знал Дягилева и его балет, князя Церетели и балет Монте-Карло, что он и так, и этак причастен был к русскому искусству за границей... Человек был достаточно едкий, очень неглупый и привез он с собой в виде багажа двести пятьдесят вееров! Как их у него по дороге или потом в гостинице не украли Но он устроил для нас вечер и показывал эту коллекцию -- там были веера начиная с французской революции, да и весь XIX век -- вплоть до войны 1914-18 гг.

Вот этот оригинал первый меня предупредил про Золинову - не верьте ей, не слушайте ее льстивых речей! Она - человек страшный, я вот скоро уеду, а вы все с ней останетесь! Наплачетесь, она змея подколотная. А мне казалось, что он преувеличивает... Весной 1949 г. он уехал к сестре в Грузию, прожил там три месяца и поругался с ней. Но в Ульяновск он никогда не вернулся, а каким-то чудом, с остатком своих вееров, коих часть пошла на дальнейшее устройство его судьбы, очутился в Ленинграде, что было совсем не так просто. Через несколько лет он попал там в Инвалидный дом ВТД, лучший советский "дом престарелых" во всей стране!! Оказалось, что и веера могут пригодиться, а коллекция у него была замечательная.

Эта первая зима в Ульяновске была "нормальная", в декабре-январе недели три стояли морозы и до -35 -36°, с ветром это получалось порядочно холодно, но как-то морозы эти мы все трое перенесли неплохо, зимние вещи у нас были хорошие, в комнатах было тепло, питались очень прилично.

Зима эта тянулась ужасно долго - или мы просто отвыкли от бесконечной русской зимы? Но пришла весна и с ней пыль, суховей, внезапные жуткие грозы... Начались в Пединституте экзамены: не знаю, кто их острее переживал -- мои студенты или я? Но группы мои оказались вполне успешными, все перешли на второй курс. Я прощалась с моими студентами: "До осени, отдыхайте хорошо", - и возвращалась домой с букетами ландышей и сирени. Варвара Мирославна мне сказала, что с сентября у меня будет не три группы, а пять, и чтобы я к этому приготовилась.

Никита тоже перешел в восьмой класс, он оказался в числе десяти лучших и в награду поехал с группой учеников на пароходе в Москву. Он был в восторге -- в группе ехал милый мальчик Ваня, ученик из детского дома (ленинградского, эвакуированного во время войны) и любимая классная руководительница Халида Германовна -- удивительно сердечный человек.

А я получила от Пединститута дешевую путевку в дом отдыха на Волге, куда и поехала -- тоже на пароходе, на левый берег, за 50 километров от Ульяновска, вместе с двумя преподавательницами и двумя студентками четвертого курса.

О моем первом -- и последнем -- пребывании в советском доме отдыха можно написать отдельную главу, но я не обладаю талантом Зоценко. Впрочем, я там отдохнула; к счастью, мы жили своей группой в отдельном маленьком коттедже, а не в общем дортуаре на сорок человек!..

Мимоходом про девушку, которая обслуживала в громадной столовой наш столик: это одна из самых красивых русских женщин, каких я только видела в СССР! А красивых молодых женщин в Ульяновске было не мало, куда больше, нежели в Москве! Через несколько дней я обратила внимание моих спутниц на нашу юную "подавальщицу" -- они рассмеялись и ответили: "Что же в ней красивого? Совсем простая, деревенская!" Но я настойчиво стояла на своем, а главное, что в этой девушке поражало - это ее манера, достоинство в каждом жесте, плавность походки, прелестная улыбка и природная вежливость. Да и кроме красивого лица у ней были точеные руки, чудные зубы -- и... ни капли пошлости, жеманства или угодливости! Понемногу мои спутницы тоже ее рассмотрели, и как-то старшая из них честно мне заявила: "А ведь вы правы -она настоящая красавица, наша Маша!"

### **Арест Игоря Александровича**

*Tonnerre, n.m. (lat. tonitrus) coup de tonnerre,*

*evenement brutal, imprevu.*

*Petit Larousse 1975, p. 1026*

Молния, как всегда, ударяет без предупреждения - а можно ли было от нее укрыться и спастись?

В конце августа я пошла в Пединститут посмотреть расписание лекций и поговорить о новых группах; к великому удивлению я свое имя нигде не могла найти... Сперва спросила нашу обервахтершу тетю Валю; она как-то помялась, сказала: "Видно еще не решили". Пошла я искать кого еще спросить, оказалось, что никого нет на месте... Сунулась было к декану, но и его не было. Через несколько дней пошла опять, и наконец секретарша института сказала мне, что я преподавать здесь больше не буду... На мои расспросы ничего точного сказать не могла. Директор? -- Директор еще не вернулся из отпуска.

Я ничего не могла понять, видела какие-то натянутые лица -- кто его знает, какую сплетню обо мне пустили? Или мое место понадобилось кому-то из своих?.. Но занятия в Пединституте начались, никто оттуда ни разу ко мне не зашел, что хочешь, то и думай! Это все было для меня загадкой -- неужели такой провал " Жизнь шла своим чередом, и вот 20-го сентября 1949 г. около часу дня я вернулась домой с базара, вошла в кухню и -- увидела, что там стоит высокий и очень видный молодой человек в штатском; он резко обернулся и сразу задал мне вопрос: "Вы что здесь делаете?" Я возмущенным голосом ответила: "Я? Я пришла к себе домой, а вот вы, интересно, что делаете у нас на кухне?" Лицо его было странно, не по-человечески неподвижно, голубые глаза смотрели мимо меня. Он сказал очень четко: "Я -- старший лейтенант Толмазов Ваш муж задержан, в вашей комнате идет обыск, садитесь здесь и не двигайтесь никуда". С этими словами он ушел внутрь дома. в нашу комнату.

Я стояла, не двигаясь; из комнаты вышел мужчина в темно-синем костюме, лицо татарское, чернявое; он мне указал на ступени у лежанки, сказал одно слово "садитесь", вынул револьвер и повернувшись ко мне спиной, стал глядеть во двор; в заднем кармане брюк у него топорщился другой большой револьвер. Я послушно села и мы оба застыли в молчании.

Как всегда, я машинально взглянула на ручные часы, и поэтому знаю, что просидела на этих ступеньках полтора часа; одно время мне стало так плохо с сердцем, что я открыла сумку, вынула лекарство, которое всегда носила с собой -- очень крупное драже, я его обычно разбивала ступкой и потом запивала водой, но тут, чтобы спасти себя, взяла да и проглотила драже целиком... Мой сторож обернулся, и я ему сказала: "Я приняла лекарство, у меня с сердцем плохо!" Он пожал плечами и опять повернулся к окну; в сущности он проворонил -- принимать что-либо абсолютно запрещено, ведь так можно и отравиться!!

Наконец в кухню вернулся Толмазов и произнес: "Идите, только никакого крика!" Я ему не ответила и пошла в комнату, там Игорь Александрович сидел на кровати в углу у окна, как загнанный, у него было ужасное лицо. Тут стоял другой чекист Гаврилов, постарше первого, плотный, с толстым лицом. Он велел мне открыть сумку -- там кроме платка, денег и лекарства был еще старинный кошелек из мягкой свиной кожи, а в нем были какие-то сувениры, вроде никитинового первого зуба, двух эмалевых пасхальных яичек с бывшего когда-то ожерелья, но там же лежало и кольцо с небольшим бриллиантом карата в 1,5--2 --подарок отца, каким-то чудом у



меня сохранившийся, и обручальные кольца. Кольца Гаврилов просто отложил, а кольцо с бриллиантом взял, сказав: "Это мы внесем в список конфискованных вещей". Я стала резко протестовать, говоря, что это подарок отца: "Сами видите, таких вещей и не делают больше, ни за что его не отдам!" Мы пререкались некоторое время, и вдруг он это кольцо мне вернул... Дальше пошел бесконечный спор о десяти небольших вырезках из Правды -- кто вырезал, зачем, почему сохраняются. Я ему терпеливо повторяла, что они сделаны мною для Никиты, когда он в классе готовил доклад о конституции. Ну, а все же подробнее? Наконец и эти несчастные вырезки он отложил, сказав: "Хорошо, в протокол заносить не будем". Потом он мне показал список вещей, взятых под секвестр, -- до суда их нельзя трогать. Туда входило все, что у меня было (кроме убогой мебели), и даже моя новенькая меховая шуба, привезенная из Парижа. "Но ведь скоро зима, -- говорила я, -- мне придется шубу носить, а что, если ее украдут?" -- "А вы не волнуйтесь, носите", -- назидательно ответил Гаврилов. "Шуба у нас общая, вместе жили -- вместе наживали". Он велел Игорю Александровичу встать: "Пойдемте", и обращаясь ко мне: "Имеете что-либо заявить? Есть претензии?" -- "Да, да, -- я закричала громко, -- имею, заявляю вам глубокое возмущение, что вы арестовали моего мужа, который боролся в Соппротивлении во Франции, пробыл год в лагере смерти Бухенвальд, я заявляю вам, что он ни в чем не виновен, я протестую всячески против его ареста". Воцарилось молчание, потом Гаврилов сказал: "Пойдемте", -- и вывел Игоря Александровича, Толмазов вышел за ним. Я выскочила на кухню и видела только, как отъехал "виллис" и -- скрылся из глаз.

Я села в кухне и там сидела, войти в комнату было трудно: все валялось на полу -- платье, белье, лекарства, книги, тетради... Романовы притаились у себя, не показывались, видно, подслушивали. Впрочем, для них, наверно, сюрприза не было...

Часов около четырех вернулся из школы Никита, увидел меня, разбросанные по кухне вещи. "Мама, что это?" -- Я ему ответила: "Возьми себя в руки, сколько можешь -- отца увезли". Он долго стоял неподвижно и только изредка шептал: "Гады, гады, вот гады!"

Вечером Никита поел что-то, сделал уроки -- я считала, что завтра ему надо пойти в школу, а там видно будет -- лег спать в комнате и сразу заснул. А я пошла на кухню, закрыла плотно дверь и стала взад и вперед бегать, и тут у меня начался дикой силы припадок аэрофагии; временами боль под ложечкой и в желудке была нестерпимой, и я по-настоящему изо всей силы билась головой о косяк двери, чтобы отвлечь себя от этой боли. К утру я начала понемногу дышать, боль стала поменьше, мысли несколько прояснились. Я вскипятила Никите чаю, он даже поел хлеба и ушел в школу, а к десяти утра пришла Шура, простая женщина, добрая, неграмотная -- она два раза в неделю приходила ко мне убирать. Мне не пришлось ей много объяснять, и мы вдвоем начали уборку валявшихся на полу вещей: разбитых флаконов, растоптанных лекарств (а вдруг там яд?), валявшихся писем и бумаг.

Что я делала первые две-три недели после ареста? Тут у меня полный провал в памяти. Но вот, наконец, я очутилась в кабинете у Веры Григорьевны Золиновой -

надо было поскорее найти работу; гадкая харя холода, голода, крайней нужды уж была за углом.

Эта зима была ужасно тяжелой -- найти подходящую работу оказалось немислимым. Место в Пединституте я потеряла безвозвратно, об этом позаботилось МГБ, приказав снять меня с работы до начала учебного года и за двадцать дней до ареста Игоря Александровича. Студенты мои, все три группы, дважды ходили к директору просили дать им опять со мной заниматься -- они, думаю, уж знали что я стала женой "врага народа", а потому их отношение ко мне было не лишено отваги... Если кто-либо из них встречался со мной на улице, всегда была милая беседа, но о главном ни слова...

Словом, подыскивать работу для человека с больным сердцем -- это и для Золиновой было нелегко... А Романовы недолго ждали они стали сперва незаметно, а потом и в открытую выживать меня из моей комнаты; они хотели поселить в ней сестру свою Марию Федоровну, милую старушку, при старом режиме служившую личной горничной у богатейшей симбирской помещицы графини Орловой. В ноябре Романов мне заявил, что все наши дрова уже сожжены, а остались только его дрова; я его боялась -- он мог такое на меня донести "куда надо", что меня забрали бы, и тогда Никита один, в пятнадцать лет просто погиб бы или попал бы в приемники МВД для "брошенных детей". Да и шпана, царившая на площади Ленина около городского сада, была в курсе всего и пыталась Никиту к себе затянуть... Чтобы помочь ему, или наоборот, погубить Кто знает?..

Готовить в кухне на плите Романов мне запрещал и выгонял самым грубым образом; он придумал и еще один приемчик, доводивший меня: часов с восьми утра на полный ход включал радио (в виде тарелочки на стене), закрывал дверь в свою комнату на ключ и уходил до позднего вечера. Рев репродуктора лился через фанерную перегородку, и только плотно закрыв дверь на кухню. можно было спастись от этой пытки...

Не легко подробно писать об этом времени; в ноябре Золинова мне объявила, что нашла мне работу секретарши в Управлении ночных сторожей города... Я пошла в небольшое, грязное, прокуренное помещение, где служащие приняли меня в штыки; понять в чем дело я сразу, конечно, не могла. Главой всех ночных сторожей города Ульяновска, охранявших в тулупах и с винтовкой в руках Универмаги, Гастрономы и иные чудища советской торговли, был некий "реэмигрант" Розенбах, корректный, аккуратный, идеальный представитель русских прибалтов, служивших поколениями "моему Государю". Он тоже был в группе 24-х новых "советских граждан", высланных из Франции Жюлем Моком, но знала я его мало, только изредка встречала. Когда я его увидела, то, ничего не подумав, подошла к нему поздороваться; он же посмотрел на меня с высоты своего громадного роста ледяными голубыми глазами и отступив, громко сказал: "Что вам нужно? По-моему, мы не знакомы!"

Я еще не знала, что меня можно настолько бояться, что даже для людей нашего круга я -- чума.

В это вонючее Управление подчас заходили сторожа и сторожихи за ключами или тулупами, и так вышло, что одна из них со мной вместе вышла и заговорила; понемногу она стала появляться на моем пути ежедневно. Ее звали Маша; это была женщина лет пятидесяти, неграмотная, очень неглупая, милая, и я с ней стала беседовать: садились где-нибудь на скамейку, и она мне про себя рассказывала многое, а была она военная вдова. Розенбаха обожала, как впрочем, и все остальные сторожа, говорила про него: "Ты на него не обижайся, боится человек, сама должна понять..." Но наконец я ее спросила, почему все служащие ко мне так относятся, и тут выяснилось, что по приказу Золиновой для того, чтобы меня "трудоустроить", сняли с работы немолодую уже женщину, работавшую исправно в этом учреждении более двадцати лет!

На следующий день я пошла в Переселенческий Отдел, заявила Золиновой, что не согласна, чтобы из-за меня несправедливо увольняли эту женщину, и что к сторожам я работать больше не пойду... Вера Григорьевна только пожала плечами и очень ясно высказала мне свое неудовольствие.

Мою подругу Машу я через несколько дней случайно встретила на улице; она ко мне подошла, уверила, что та женщина снова на работе, и озабоченно спрашивала: "Ну, а ты как теперь будешь?"

Месяца через два Розенбаха схватило днем МГБ -- прямо в помещении Управления сторожами и редкий случай, все угрюмые, прокуренные служаки окружили своего шефа Розенбаха, умоляли его не забирать, некоторые сторожихи бросились перед гебистами с плачем на колени, целовали Розенбаху руки... Ну, да что тут говорить: мы вот выжили после страшной заварухи этих лет, а Розенбах пропал без вести, погиб... "тогда будет двое на поле: один берется, а другой оставляется".

Многое еще можно рассказать про эту зиму, когда мы остались одни. Я писала и писала прошения, как все, -- кому? Главным образом, Молотову -- писала подробно, следила за тем, чтобы все было ясно сказано, не слишком длинно... верно, таких прошений в те годы написано много тысяч.

Изредка кто-то приходил ко мне с заказом -- написать работу по немецкому или английскому переходному экзамену на следующий курс; однажды пришлось писать даже для саратовского студента... Платили за это тогда сто рублей, вернее, обещали сто, а когда работа была сделана, давали и меньше... Помню, одна ужасная старуха дала мне двадцать рублей и уходя, со злобой сказала: "С тебя и этого хватит!" Пришлось мне под новый год принять тяжелое решение.

Я поняла, что никогда никакой работы не получу, -- про такие положения я слышала еще в Париже, а вот теперь и меня ударило -умирай с голоду с мальчишкой, кому какое дело?! А за учение в 8-м классе надо было платить, правда немного -- 150 рублей в год. Ну, да не в этом дело -- ведь никакого дохода у нас с Никитой не было, никаких родственников тоже. Мы были в городе чужаки, мы были

indésirables. Я поговорила с Никитой, но что он мог мне ответить?.. И я явилась на тот же завод №650, где работал Игорь Александрович, прошла к главному инженеру Гальперину и попросила его принять Никиту на завод учеником в какой-нибудь цех... Гальперин как-то легко согласился, получил согласие директора завода Дубового, и я пошла в школу, где учился сам Володя Ульянов -- известить директора, что принуждена Никиту перевести в вечернюю школу рабочей молодежи, и что придется ему стать на заводе учеником-токарем. Как приняли такой поворот в никитиной судьбе его одноклассники? Не знаю, но обе его классные руководительницы -- Халида Германовна по 7-му классу, и Мария Федоровна -- женщина пожилая, не менее шестидесяти лет, заслуженная, по 8-му классу -- обе очаровательные, искренно полюбившие Никиту, -они обе просто плакали, умоляли меня переменить решение... А что было делать? Несчастные 250 рублей в месяц, которые Никита мог принести домой, должны были стать нашей базой, весьма, конечно, сомнительной и зыбкой...

Пошла я и в вечернюю школу рабочей молодежи -- тут был иной мир, иные люди; им не надо было объяснять, "как это мать принимает такое решение". Они не умоляли меня его переменить.

Директор вечерней школы Филиппов был приветлив, умен и прост - обычный человек, без всяких фанатерии и марксистских фразочек. Был он неказистый и лысоватый, одет если не неряшливо, то, скажем, бедно и... был у него -- увы, увы -- красный нос... Нос покраснел у него законно: он выпивал, как многие. В этой школе Никита был самым молодым, следующим за ним по возрасту шел высокий красавец 28-ми лет -- но был и майор сорока лет, сидел рядом с Никитой -- этому надо было "доучиться"; он ушел на войну в небольшом чине, имея за собой пять классов, а теперь уже был майором, и дальше, не окончив среднюю школу, никуда по чинам продвинуться не мог. Сперва Никита ходил на завод еще в парижском пальто и костюмчике, потом у него появился ватник, и зимой он стал носить те высокие немецкие сапоги, которые Игорь Александрович привез из немецкого плена; ушанка была, конечно, с первой зимы. Он стал другим; теперь, когда он шел по улицам Ульяновска, с закопченным лицом и совершенно отчаянным, злым выражением лица, то мало чем отличался от других таких же "злых мальчиков" -- а их было в Ульяновске немало. Надежда Яковлевна, которая его как-то встретила на улице (и он прошел мимо нее, не заметив), назвала его тогда -- "трагический мальчик".

В середине зимы к Романовым приехал на неделю их сын Сергей Николаевич, сотрудник московского МВД в порядочном чине; он носил мундир, как полагается, был мужчина видный, с прекрасными манерами... Его мамаша нам его представила на кухне, и мы прилично побеседовали... Из Москвы он привез апельсины и виноград и вежливо преподнес Никите кулек фруктов, а Александра Федоровна попросила, чтобы я проверила, как он говорит на языках -- что ж, оказалось, что отлично говорит. Я уже раньше от Романовых про него слыхала рассказы -- вот, мол, как их сын благодаря революции преуспел: живет в Москве на Можайском шоссе, в том же доме и на той же лестнице, что сын Сталина Василий, и как они говорили, вечно ездит в командировки за границу по личным поручениям Сталина... "На работе в Москве он очень устает, -- вздыхая, говорила Александра Федоровна, --

ведь на работу-то едет только к полуночи, потом утром поспит, а там и дела всякие, ужинает около 11-ти вечера, по-настоящему только один раз в день и поест!!"

В эту же зиму завелось у меня в Ульяновске новое знакомство -- с одним заводским инженером; я его мельком видела еще до ареста: он сам подошел к Никите в цеху, спросил его про меня и не зайду ли я к нему посидеть? Он был бы рад -- и дал свой домашний адрес; в той растерянности, в какой я пребывала, такое приглашение было приятно -- значит, есть кто-то, кто сам меня приглашает... Вскоре я пошла по этому адресу, собственно, даже плохо зная, к кому иду. А это был Иван Федорович Сарычев, изобретатель, талантливый инженер, член партии с 1917 г., близкий друг Луначарского, и как оказалось, пробывший четыре года на колымской каторге - с 1938 по 1942 г. Он работал на том же заводе, что прежде Игорь Александрович, а теперь Никита, но это, собственно, была синекура: этот заводщик мало мог его интересовать; он жил в небольшом деревянном доме, очень стареньком, принадлежавшем его второй жене, чувашского происхождения и местной уроженке -- у них была дочка Лена лет 12-ти, а от первой жены, жившей в Казани и сильно партийной дамы, был сын, и как много позднее узналось, работавший в казанском МВД. Был Сарычев охотник и собачник, по-своему весьма образованный, почитатель Маяковского, любил читать вслух его стихи; он был всегда в курсе всех мировых событий. Из трех комнат на втором этаже, где жили Сарычевы, одна была его мастерской: там были всякие станки, аппаратуры, инструменты. Он раза два меня туда водил, но мельком.

Всегда был чай и угощение -- "а вот попробуйте" -- и мне подавалась тарелка с мясом, рыбой или дикой птичкой, но очень деликатно. Никто не подавал виду, что знает, как сильно хромает у меня питание.

Не банальный человек был Иван Федорович: язвительность, резкость его суждений, его всепоглощающая ненависть к Сталину, которую он, по крайней мере при мне, не скрывал; да меня он тоже никогда не щадил, не стеснялся укорять за то, что мы уехали из Франции, издевался... Над чем? Да надо всем буквально... Словом, человек озлобленный, считавший, что дело его жизни предано -- и уже непоправимо. Он считал, что кто-то на заводе (и даже называл - кто) приложил руку к аресту Игоря Александровича.

А вот как-то весной 1951 г. пошла я в колбасную лавку на Гончаровке - никого не было, кроме продавщицы, а все, что продавалось, было мне не по карману; в тот год все дешевые продукты сразу исчезли; я стояла в нерешимости, вдруг в магазин влетел какой-то мистер с портфелем под мышкой, очень делового вида, торопливый - спросил девушку: "Заведующий здесь?" - "Нет, ответила она, - а вот Иван Иванович есть" - "А ну, позовите-ка его". Вышел сам Иван Иванович, в белоснежном халате, высокий, тучный -- поздоровались. Человек с портфелем спрашивает: "А начальничек где же сегодня?" -- "Начальничек -- фюить...", -- и Иван Васильевич свистнул громко. "Как, как это -- фюить?" Маленькая пауза. "Как фюить? Да так -- пятьдесят восьмая!" Все помолчали, и даже долго... "Ой, Господи!" -- вскричал посетитель и круто повернувшись на каблуке, опрометью бросился вон из колбасной... Тут и я быстренько убежала, а придя домой, совершенно

потрясенная тем, что "старший колбасник" и тот исчез по пятьдесят восьмой, решила, что чего-то я не поняла до конца, что надо это теперь выяснить, и занялась на несколько дней чрезвычайно для меня трудной математической задачей -- я ведь до комического плохо считаю и научиться никогда не смогла. Но тут я взяла лист бумаги и стала ставить палочки -- по палочке на каждого, про кого я знаю, или просто слыхала, вроде как про колбасника, что он арестован. Вспоминала, подсчитывала про громкие суды, которые были, например, в Ульяновске, -- словом, всех, всех, кто только пришел в голову... Потом прикинула, сколько во всем Советском Союзе жителей, сколько надо тут вычестить детей и глубоких стариков, и потом сравнила оба получившиеся числа, и вышло у меня, что в лагерях находится в данную минуту... одиннадцать миллионов!! Пересчитывала много раз и, наконец, пошла вечером к Ивану Федоровичу.

Я ему сказала, чем была занята, и какой у меня результат - скажите, это я ошиблась? Может ли быть -- одиннадцать миллионов? Иван Федорович долго не отвечал, потом сказал: "Ну, что ж, вы хоть и дама, а считаете не так уж плохо, однако ошибка тут есть -- не одиннадцать, а пятнадцать. Правда, американцы считают, что больше двадцати... но будем считать мою цифру правильной..." Я была поражена, убита - что же это за ужас? "Эх, Нина Алексеевна, - говорил не раз Иван Федорович, -- вы все говорите -- немцы, Бухенвальд, Гестапо! Ведь это же враги! Вот облили генерала советского водой и выставили на мороз, он за ночь и замерз..., а ведь на Колыме это было обычное дело - украл мальчишка хлеб ночью с голодухи - ну, и облить его -- не то что за ночь, а за несколько часов станет ледяной статуей... А летом выставить голого на "гнус", чтобы гнус закусал насмерть!... И привязывали крепко, а кто поможет, пожалует -- того рядом, то лень кого - тоже -- пусть всем станет ясно, как с врагами надо справляться... "

Рассказывал Иван Федорович и про свое детство. -- Его мать была перчаточница, годами работала в Москве у французской хозяйки, зарабатывала хорошо, кое-что умела по-французски, хозяйку французенку и любила, и уважала. Отец его был старшим мастером на каком-то небольшом московском заводе, каких тогда в Москве было много. Жили хорошо, квартира была в две комнаты, по воскресеньям мать пекла пироги и ставила большой котел щей с мясом, так, чтобы и на понедельник хватило... Были у них и два кота -- ежедневно разносчик приносил котам обед -- печенку и легкое, что-то около полуфунта: коты только это и кушали. В 1917 г. Иван Федорович вступил в партию. Иногда, очень редко, я решалась спрашивать Ивана Федоровича, что же он теперь думает? Но как-то случилось, что он на мое очень скромное замечание раскричался, стал бегать из угла в угол, чуть ли не рычал и наконец даже... расплакался. Я была в отчаянии, и никогда больше...

А рассказы про Луначарского, про процесс обкомовцев в Ульяновске, когда любимого в городе инженера Народный Суд оправдал, и рабочие на руках его вынесли из зала суда; рассказы про золотые прииски на Колыме, про самородки, которые редко, но попадались -- все это было так живо и интересно. Сам Иван Федорович на Колыме потерял два пальца правой руки, но как это случилось, я никогда его не спрашивала.

Надо вспомнить и другого инженера -- он работал на большом станкостроительном заводе недалеко от Ульяновска; завод получил из Германии какой-то электрический прибор, и он, узнав про Игоря Александровича, пришел к нему на работу с просьбой перевести инструкцию. Так он попал к нам, и в течение лета и осени 1949 г. несколько раз заходил, сидел, пил чай, словом, бывал и по делу, и дружески. Его биография была не вполне обычная: долгие годы он был циркачом, проделывал вольтижи на велосипеде над сеткой... Как-то рабочие забыли натянуть сетку, он бросился с потолка вниз и... упал на арену; калеккой не стал, но цирк пришлось покинуть. Потом он кончил какой-то институт и так как он был человек незаурядный, то вскоре попал на этот крупный концерн под Ульяновском. Но... Романов не дремал, он, видно, всех аккуратно записывал, кто к нам приходил; и когда Игоря Александровича "задержали" -- ("ваш муж задержан"...), его недели через две начали таскать, и все по ночам, чтобы на заводе никто не знал, да и чтобы на работу аккуратно являлся... Вот так он, бедняга, провел полгода: ночь на допросе ("ну, расскажите еще раз поподробнее, как это вы познакомились с Кривошеиным"), а весь день на заводе; только ляжет, задремлет -- а уж за ним машина. Всю эту историю я узнала много позже, случайно, после смерти Сталина, когда начались первые освобождения и реабилитации. Полгода без сна!!

\*\*\*

В июне 1950 г. неожиданно на Рылеевой появился некий шофер, служивший у генерала МВД в Берлине чуть ли не три года. Генерал вернулся в Ульяновск, и он вместе с ним, а жил он и его семья до отъезда в Германию в нашей комнате, которая вполне законно числилась за ним -- у него даже был на нее ордер... Началась борьба не на жизнь, а на смерть - потерять жактовскую комнату, потерять крышу над головой! Ну нет! Я вышла из оцепенения и бросилась в схватку "за площадь" с отчаянной решимостью.

Романовы сразу стали на сторону шофера, да и председательница жилотдела нашего района тоже -- да и кто тогда посмел бы пойти против служащего МВД, хотя бы и простого шофера?... Я купила замок, тщательно закрыла дверь и окно, ведь если бы, не дай Бог, шофер сумел проникнуть в мою комнату и поставить там чемодан -- был бы конец, его ордер выдан раньше моего, и выдворить его было бы невозможно. Жилотдел предлагал мне другую комнату; мы пошли с Никитой смотреть -- это было на берегу Свияги, самый отдаленный и даже жуткий район, туда и милиция-то избегала заглядывать... Никита говорил: "Ни за что, ни за что сюда, да я часто из школы ночью возвращаюсь после двенадцати, а тут меня или избьют, или убьют сразу же, я знаю, какие здесь живут, да и вам будет страшно!" Я заявила служащей жилотдела -- "Нет, ни за что сюда не согласна, а вот если шофер не боится, почему вы ему сюда не предлагаете?"

Шофер говорил со мной чрезвычайно грубо, служащая жилотдела пыталась запугать- "зачем отказываетесь, хорошо, что и это предлагаем..." -- "Но ведь это вы, ваш отдел выдал Игорю Александровичу ордер на комнату, где я живу, чем я тут виновата?" Такие доводы выводили ее из себя: "Мало ли что! Тогда думали, шофер не вернется, а теперь обстановка изменилась"... Через неделю такой перепалки

шофер и служащая жилотдела мне как бы официально заявили, что завтра с утра взломают дверь, вещи мои вынесут и... делу конец, тогда и на улицу Шевченко, на берег Свяги, с радостью побежите !

Что делать, что, что? И вот часов в десять вечера я внезапно приняла решение и сказала Никите: "Одевайся, идем". Когда мы уже были на улице и отошли от дома, я добавила: "Идем в проходную МВД, я вызову Гаврилова, расскажу ему все; если через два часа не выйду -- беги, значит и меня схватили; беги в шпану, на Рылееву -- ни за что". Идти было очень далеко, темно, страшно -- а проходную... я ее хорошо знала, не раз там зимой побывала...

Это была деревянная пристройка у дома МВД на улице Карла Маркса; внутри было две скамьи вдоль стены, висел телефон на другой стене, и перегородка с оконцем, где сидел дежурный...

Я туда вошла в пол-одиннадцатого, сняла телефонную трубку и сказала: "Прошу Юрия Дмитриевича Гаврилова вниз." -- "Кто просит?" - "Кривошеина, Нина Алексеевна, по важному делу, очень прошу его спуститься ко мне".

Мне кажется, я жду очень долго, и вдруг Гаврилов уж передо мной -- всегда поражалась, как это они умеют так внезапно и неслышно входить? Подходит ко мне вплотную, лицо, как всегда, без всякого выражения... "Вы хотели меня видеть?" -- "Да, и по важному делу, я вот пришла задать вам один вопрос" -- "Да, пожалуйста?" - "Вот, я пришла, чтобы вас спросить: на что вы собственно поставлены? На то, чтобы арестовывать наших мужей и пускать нас по миру? Или еще для того, чтобы нас потом и защищать?"

Что теперь? Схватит, вызовет, чтобы меня арестовали за оскорбление?.. Он говорит: "Вас обидели?" -- "Да, да, именно" -- "Кто?" "Да ваш же, ваш же служащий..." -- "Кто? Расскажите!" Я ему все рассказываю, все толково и даже спокойно. Кончаю словами: "Как же мне теперь быть? Не могу я комнату потерять, вы сами понимаете".

Пауза -- и долгая. Гаврилов говорит: "Не волнуйтесь, комната останется за вами, можете быть спокойны". -- "Благодарю вас, значит я могу не волноваться?" -- "Говорю вам, комната за вами". И я выхожу на темную, плохо освещенную, очень широкую улицу Карла Маркса; Никита там, на той стороне, иду к нему. "Мама, что вы ему сказали?.." Но мы почти бежим домой, вониз этого проклятого места, я молчу, будто дар речи потеряла. Да, действительно: что же это я ему такое сказала, что это были за слова, почти дурацкие, почти бессмысленные? Я ведь, входя в проходную, просто не знала -- как скажу.

На следующий день шофер появляется около полудня, он развязно улыбается. "Эх, -- говорит он мне, -- ну и шампунь же мне нынче задали -- в жизнь такого не помню. Что ж это вы, Нина Алексеевна, так? Давайте по-хорошему! Я что? Да ничего я против вас не имею", -- и долго несет такую пошлую галиматью. А я молчу, уж очень он был вредный; тогда он хватает меня за руку, все просит его



извинить, и... батюшки, да что это! -- становится на колени передо мной и целует подол моего платья... Ну, это уж слишком, что за пьеса!

Еще на следующий день особа из жилотдела ведет нас всех смотреть квартиру, расположенную за трикотажной фабрикой (фабрика размещается в Ильинском Соборе), -- кухня с громадной русской печью, и из кухни прямо вход в комнату, размером около 9 метров. Тут еще живет Мария Федоровна, машинистка в Танковом Училище, -- кстати, и оно не так далеко отсюда. Она хочет уехать к брату в Омск, так как ее муж вот уж три года в колонии для сумасшедших под городом -- но уж два раза убежал и придя домой, чуть ее не задушил. Она боится его. Подала ли она все бумаги? Да, да. А кто живет в самой квартире? -- Ведь это только бывшая когда-то кухня и прачечная при доме; тут в доме имеется отличная квартира, но теперь она совсем отделена, и там живет зав. финансовой частью Горсовета В.М. Михайлов, его жена и дочь с мужем и сыном. Жена -- заведующая самой большой пошивочной мастерской в городе. Около дома, несколько метров дальше, громадный огород -- уборная, конечно, во дворе. В кухне есть, однако, кран! Это важно, значит не надо бегать с ведром на колонку за водой - впрочем, на Рылеевой тоже был кран.

В тот же день иду в жилотдел к начальнику, чтобы подписать все бумаги и получить ордер на новое жилище по Советской улице, 26. Заведующий жилотделом, приятный, суховатый полковник Федоров, принимает меня очень вежливо; я все же немного сомневаюсь, уж очень эта кухня страшновата. Но Федоров настаивает, повторяет несколько раз: переезжайте, не ждите, переезжайте, и добавляет: "Тут будете совсем отдельно от соседей жить..." Его намек, наконец, доходит до моей усталой головы: "Это вы про моих соседей?" Он внезапно взрывается: "Да, ну конечно же, что вам мало, что один уже погиб?!" Стучит по ящику своего стола: "Хотите, я вам покажу все доносы, которые он на вас написал за это время? Вот они здесь у меня в ящике -- пятнадцать, двадцать! Хотите прочесть?!" Говорю: "Нет, не надо показывать, зачем мне? Но так, скажите хоть про один -- что же на меня можно доносить? Как будто просто нечего". Федоров: "Ну вот, первое, что помню: когда ваш сын приходит домой, вы с ним говорите в своей комнате по-французски, а он не понимает..." -- "И что вы ответили... можно узнать?" -- "Ответил: очень похвально, что эта женщина не дает сыну забыть французский, впрочем, будь она татарка или чувашка, вы бы и тогда не понимали бы..."

Все ясно, бумаги подписаны, получаю от Федорова ордер на новое жилище, крепко жму ему руку, говорю: "Спасибо вам за совет и защиту". Итак, надо переезжать с Рылеевой, и поскорее. На меня находит столбняк, апатия, граничащая с болезненным состоянием; но приходят люди помочь: Таисия Прохоровна Бухало, приехавшая из Парижа в 1947 г., Сергей Фролов, приятель Никиты еще по той школе, высокий, статный юноша, он года на полтора старше Никиты, его отец был деканом в Пединституте -- он один из всего класса продолжает дружить с Никитой после его перевода в вечернюю школу. А на чем же везти вещи? Ведь все-таки две кровати, большой шкаф, три корзины, табурет; шофер говорит, надо грузовое такси... Это я тоже понимаю -- до Советской улицы почти два километра... "Не могу я нанять грузовое такси -- это не меньше ста рублей, у меня их нет..." - "А сколько

есть?" - спрашивает Таисия Прохоровна. - "Да вот, рублей десять, не больше..." Шофер подходит ко мне и говорит: "Придется мне вам машину достать со службы, иначе не получится, а вон время уж скоро четыре часа дня", -- и он уходит.

Вскоре во двор въехал грузовик со знаком МВД и вторым шофером, и началась погрузка вещей; грузили Никита, Сережа Фролов и оба шофера. Раздался гром и вдруг обрушился дикий ливень. Грузовик уехал, а мы с Таисией Прохоровной остались переждать. Потом и мы побежали к новой квартире, вымокли ужасно -- вещи уже были разгружены, шкаф стоял во дворе, так как дверь в квартиру была очень мала; я вошла внутрь, все наши вещи были свалены на кухне, корзины, узлы с одеялами; жилица Мария Федоровна и две ее приятельницы сидели в комнате, а Никита и Сережа тоже вошли на кухню вместе со мной. Тут оказалась и служащая из жилотдела -- словом, все были налицо. Сергей говорит Никите: "Идем ко мне домой, передохнешь и поешь, а утром вернешься сюда". Я киваю головой, и они оба уходят -- и верно, Никита с утра ничего не ел и промок до нитки. Сажусь на какой-то стул рядом со служащей жилотдела: "Вот видите, как хорошо, - говорит она, -- вот Мария Федоровна уедет, и у вас с Никитой будет своя квартира". Дождь барабанит с треском в маленькие оконца, но... Дверь со двора распаивается и появляется тучный полковник милиции, и с ним нижний чин, вроде вестового: "Ба, ба, ба! -- восклицает он, как в старинном водевиле, -- ну-у, опоздали! Говорил я тебе -- поторапливайся, а вишь, место-то уже занято!" Поворачивается ко мне круто: "Это вы сюда въезжаете?" -- "Да нет, -- отвечаю, -- я уж въехала". -- "А ну, покажите-ка ордер?" Вынимаю ордер и держу его перед собой: "Да вот он -- все в исправности". -- "Дайте мне его, я погляжу". - "Ну, нет, - я говорю самым возможно советским тоном (а мнемонические способности у меня были неплохие) -- может я вам и кажусь совсем дурой, но не настолько, чтобы мой ордер в руки вам дать!" -- и прячу ордер в сумочку. Представительница жилотдела наконец поднимает голос: "Все в исправности, товарищ полковник, будьте покойны"... И они уходят назад на двор; значит, опять два ордера на ту же площадь... Еще полчаса, и эта квартира уже была бы у полковника милиции. А я? -- да просто на дворе, рядом со шкапом... У меня больше нет сил, все уходит, Мария Федоровна дружелюбно угощает меня горячим чаем, я валюсь на кулек с одеялами и засыпаю как убитая.

Окончательное внедрение в кухню-квартиру на Советской -- в дом, где когда-то проживал настоятель Ульяновского Храма, прошло не так-то легко: подводные рифы и тут нас чуть не потопили... Жилица Мария Федоровна и виду не подавала, что собирается в Омск, -- все вздыхала: "Ехать -- не ехать?" А мы с Никитой ютились на кухне в невозможном хаосе... Время шло, а вот и еще одна неожиданная новость: муж Марии Федоровны внезапно скончался в колонии - как оказалось, покончил с собой... Тут она легко вздохнула и говорит: "Мне теперь и уезжать нечего, ведь это я его боялась, а теперь..." Мы еще и не "заняли" площади -- площадь, это комната, но она нас туда не пускала. Я опять впадаю в отчаяние; наш шкаф все еще стоит во дворе, денег нет совсем -- решаю его продать; приятельница Марии Федоровны, энергичная молодая особа, секретарь Первого Танкового Училища, достает Никите ручную повозку и дядю Мишу -- истопника из Училища; они грузят шкаф, и Никита везет его в комиссионку продавать, но шкаф у него буквально с руками вырывают еще на улице - и он возвращается, получив за него

600 рублей... Никому в голову не приходит узнать, почему шестнадцатилетний мальчик везет продавать шкаф -- а его нигде ведь просто не сыскать и не купить! -- Может быть он его украл? И кому он отдаст 600 рублей?

От этой продажи временно становится легче, мы получше питаемся... Встречаю на улице преподавательницу из Пединститута. Она меня спрашивает: как же мы живем? На что же, в конце концов? Отвечаю ей: "Вот сейчас едим шкаф!"

Боже мой, что же будет дальше? Однако та секретарша из Первого Танкового - Нина Дмитриевна, энергичная, деловая и еще при этом весьма симпатичная, вдруг играет свою коротенькую роль в нашей судьбе... У жилицы в комнате стоит чудесный старинный буфет, и она, решив ехать в Омск, еще в начале лета продала его Нине Дмитриевне.

Как-то жилица ушла на работу в Первое Танковое, и часов в двенадцать внезапно появляется Нина Дмитриевна с дядей Мишей - дядя Миша сидит на дрогах, запряженных лошадкой; они вдвоем быстро и ловко выносят во двор буфет, и дядя Миша увозит его к Нине Дмитриевне. Я несколько смущена -- как же это так без хозяйки? "Да буфет давно уж мой, - возражает Нина Дмитриевна, -я давно заплатила, вот только дядя Миша был занят... А вы не моргайте, -- добавляет она внезапно, -- место в комнате освободилось, и внесите туда свою кровать, да лягте на нее, скажите, что больны... А то совсем без площади останетесь..." Она уходит, и как только с завода появляется Никита, мы с ним дружно тащим кровать в комнату, раскладываем ее, и я стелю простыни, одеяла, кладу подушки. Вношу и чемодан. Вот и я заняла свою площадь, теперь уже со мной трудно будет спорить, да и у меня сын рабочий, мы так и говорим всем: "Кто вы?" -- "Мы семья рабочего". Недели через две Мария Федоровна уезжает в Омск, и эта глава, как будто, окончена.

Еще немного про приемную МГБ - такую, какой она была в те годы, и про Гаврилова. После ареста Игоря Александровича я видела его всего раз в проходной, куда он мне велел прийти за полной описью задержанных вещей. Тогда я и попала впервые в проходную... А потом неоднократно ходила звонить по знаменитому телефону, украшавшему стену направо от входа -- единственный рупор и надежда что-то узнать от вершителей судьбы, находившихся где-то внутри большого каменного двухэтажного здания. Но узнать что-либо было пустой надеждой, единственный и привычный ответ на вечный вопрос было: "По этому поводу, к сожалению, ничего сказать вам не могу".

Впоследствии я Гаврилова больше не встречала, а с разными бумагами -- вернее, с ответами на мои прошения, будь то Молотову или "президенту" Швернику -- обычно появлялся Толмазов, хорошенький, подтянутый (тут он был всегда в мундире, тогда как при аресте все трое были в штатском). Толмазов щелкал лихо каблуками и в самой вежливой форме сообщал мне: "К сожалению, по этому вопросу ничего сказать не можем".

Главным начальством в МВД был в то время полковник Садовников -- его я так никогда и не лицезрела, а только слыхала восторженные о нем отзывы Александры

Федоровны Романовой; она восхищалась его наружностью, бравой выправкой и... красотой его жены. Последнее могу удостоверить - мадам Садовникова была очень эффектна, и ее мне раз пришлось увидеть в этой проходной; это случилось летом, вскоре после переезда на новую квартиру; я сидела и ждала очередного ответа, позвонив по телефону Гаврилову, сидела на узкой лавочке вдоль стены, а рядом со мной сидела молодая женщина, полная, с бледным одутловатым лицом, в скромном черном платке -- хотя был жаркий день; через некоторое время она вскочила, подбежала к телефону и сняв трубку, просила поговорить с полковником Садовниковым. После длительных переговоров ей разрешили с ним поговорить... Она начала быстро и почти бессвязно объяснять, что очень больна, что завтра ложится в больницу на тяжелую операцию и может быть, исход будет смертельный: "Прошу, прошу вас, полковник, хоть на десять минут мне позволить свидание с отцом, ведь, может быть, я его больше никогда не увижу..." Ее монолог, изредка прерываемый какими-то краткими ответами телефона, длился долго, несколько минут; наконец, в полном отчаянии, она начала громко, без стеснения рыдать, и только повторяла: "Я умоляю вас, умоляю, ведь мой отец больной, сердечник, умоляю...", -- но в трубке щелкнуло и слышно было и мне, и старухе с кульком, что Садовников повесил трубку, чтобы не терять времени... Женщина упала на скамейку и вслух рыдала и причитала, не стесняясь, потом резко вскочила на ноги и злобно вскрикнув: "Да будь они все прокляты навеки!" - убежала из проходной на яркое июльское солнце...

Мы сидели молча, я и старушка. Время шло -- там подчас приходилось очень долго ждать -- это делалось нарочно, чтобы просителей совсем обезнадежить.

И вот в этот момент в этой тяжелой тишине к проходной подкатил огромный автомобиль, молодой и изящный офицер МВД ловко соскочил с места, которое он занимал рядом с шофером, с шиком открыл дверь и поддержал под руку выходящую из машины красавицу. Она действительно была очень красива: высокая, худощавая, в отличнейшем цветастом платье из крепдешина, на голове широкополая соломенная шляпа -- то, что англичане зовут a picture hat -- да в таком туалете по пыльному нищему Ульяновску тех времен безопаснее было ехать в машине, чем идти пешком...

Она подошла к телефону, сняла трубку и сказала одно слово: "Садовникова", -- голос оттуда сразу ответил, и через секунду она опять сказала: "Миша, ты?" -- и далее: "Знаешь, тут мне принесли рыбу, - да да, свежую... ну, осетрина, да вот большая уж очень... ну, как -- брать?" После паузы: "Ладно, ладно, возьму уж". Треск, трубку на место, и она выпорхнула на улицу, обдав нас резким потоком дорогих приторных духов (не то "Красная Москва", не то "Серебряный Ландыш").

### **Еще про Ульяновск**

Страшный город был Ульяновск в те годы -- дома не ремонтировались больше тридцати лет, заборы и частоколы месяцами лежали, поваленные на тротуар, -- приходилось обходить их, сойдя на мостовую, а там зачастую лужа по щиколотку...

Во многих домах обрушились балконы; некоторые висели на металлической подпорке вдоль дома и покачивались на ветру. Все хозяйство города было в полном расстройстве; по две-три недели целые кварталы оставались без воды - не раз пришлось мне растапливать снег в ведре на кухне - и получалось четверть ведра грязной черной воды, ведь вся округа бывшего Ильинского Храма была на много сантиметров погребена под угольным шлаком, который день и ночь выплевывала двадцатипятиметровая труба, победоносно громоздившаяся над алтарем, -а ночью горела она тучками искр, вроде фейерверка в день салюта. Вторая труба вделана была внизу, прямо в алтаре, коротенькая, метр-полтора, и открывала она свою громадную пасть прямо на проходной двор -- тупик позади храма, где и был расположен ряд домов, небольших, деревянных -- а мы жили как раз в доме против трубы. Каждые двадцать минут труба эта с грохотом сотрясалась, и из нее вылетала громадная порция горячего шлака. Первое время я ночами не могла заснуть -- все ждала: когда же опять загрохочет?..

В последнем доме нашего тупика жила Екатерина Николаевна Венцер, из старой купеческой симбирской семьи Волковых -- о ней еще будет ниже; в ее дворе стоял небольшой дом, где жила просвирня -- бывшая в прошлые времена горничной у матери Екатерины Николаевны... Характер просвирня имела грозный и держала себя неприступно -- но... каждый месяц ей привозили несколько мешков муки (откуда?) и дров у нее была запасено на целый год... К этой просвирне изредка хаживал в гости "поп-расстрига", я его несколько раз видела в нашем тупике: одет он был, как в Малом Театре в пьесах Островского купцы -- синие брюки заправлены в высокие сапоги, синий армяк с кушаком, на голове картуз тоже матерчатый, синий с козырьком - борода длинная, седая, и походка легкая, быстрая, как у молодого... Идя к просвирне, он останавливался перед бывшим алтарем, перед шлаковой трубой, и долго молился, крестясь, вздыхая и причитая негромко. Молясь, снимал картуз и вдруг становился похож на священника.

Снабжение? Тут, собственно, два периода: вплоть до 1950 г. было очень неплохое -- много свежей рыбы, колбаса разных сортов, украинское сало в колбасной, всякие конфеты в гастрономах. А на рынке всегда много мяса, отборная свинина, отличные овощи -- и картошка... самая вкусная, какую ела за всю жизнь! Однако люди были разорены войной: они покупали, стоя без конца в очереди, жуткую ливерную колбасу, которую и не всякий кот бы съел, а на базаре, где было чудное мясо (по шесть-десять рублей килограмм), позволяли себе изредка купить граммов двести-триста на семью, чтобы сделать к картошке "соус"...

А начиная с указа "о понижении цен на товары" все более дешевое и доступное исчезло... и исчезло навсегда. И зайти в колбасную, купить на вечер докторской колбасы стало проблемой: цена на нее была не двенадцать или десять рублей -- а...двадцать-тридцать пять! Почему же так, почему нет больше дешевой колбасы? Ответ был всегда один: "Этих сортов мясокомбинат больше не выделяет". -- "Почему же?" -- "Да вот потому". С хлебом и мукой было всегда плохо, очереди -- часами, хлеб черный часто мокрый, тяжелый как камень. Вот когда и мы узнали, что это значит -- купить есть что, но цена-то уже не для нас... Да и все, что продавалось в ОРСе было уж не для нас после исчезновения Игоря Александровича.

Помню, как мы с Никитой осенью 1950 г. в течение шести часов подряд, сжатые как в тисках, стояли под Октябрьские праздники в очереди, вившейся змеей за... килограммом муки... Отстояли все-таки и получили по кульку -- это благодаря Никите -- я одна не стала бы ни за что целый день проводить в этой злобной толпе. А военные калеки обходили нас, с рыком и бранью оголяли свои страшные культяпки, и их, конечно, пропускали без очереди. Это зрелище может как-то идти в пару с "Герникой" -- такое же страшное, такое же уродливое.

Ну, базар - это было что-то иное, иной мир - мир, главным образом, бабий; редко-редко где старик торгует, вот тут правильно сказать -- война. Базар был тогда вне города -- кстати, рядом с заводом № 650; к базару надо было идти через мост над оврагом (овраг этот в тридцатые годы за ночь осыпался -- был и широкий, и глубокий, и долго еще полз; было несколько планов -- как его засыпать, но так и не удосужились!), надо было круто повернуть налево к подходам к базару, и тут стояли всегда те же люди, те же лица -- я их пять лет подряд видела на том же месте. Тут был и чистильщик сапог, который днем уходил в Гостиный Двор на Гончаровку; купить крем для чистки обуви или щетку негде было, и люди охотно чистили сапоги у этого чистильщика с удивительным азиатским лицом; на вопрос: "Кто же вы все-таки?" -- он мне точно и убежденно ответил: "Я ассириец". - "Ну, а жена ваша?" - "Тоже, тоже ассирийка, и пишем по-арабски справа налево". У него было шестеро детей и когда в 1952 г. его тоже арестовали "за шпионаж" (болтал, болтал с людьми, делал вид, что чистит им сапоги, ну, вот и шпионил!), они, бедные, заголодали, были еще совсем юные, а мать и по-русски-то почти не умела (его в 1955 г. отпустили и "реабилитировали").

На узкой панели слева всегда на одном и том же месте стояла слепая с клеткой -- в клетке, покрытой черным платком, сидел попугай, который за рубль вынимал на счастье билетик с предсказанием. Люди не жалели рубля и многие брали билетик: слепую надо пожалеть, да и интересно: вдруг выдастся что-то особое, счастье и... можно будет его ждать и надеяться!.. Слепая была полная, лет тридцати или сорока, лицо изрыто оспой, и два страшных бельма придавали ей какой-то вещей вид, да еще с попугаем... Видела я раза два-три, как милиция ее гоняла: "Тебе пенсия идет, и нечего с попугаем стоять, иди, иди..." Но немедленно из-под земли собиралась толпа, которая угрюмо, но твердо защищала слепую, и подчас даже мелькало словцо "мильтоны"; милиция, постояв, уходила.

Особенно оживленное место на базаре была... уборная! Полное презрение волжан к этому необходимому для всех людей учреждению меня всегда поражало, я и до сих пор не могу без содрогания его вспоминать... А тут было всегда битком набито, кто по какой причине, главное же -- тут торговали... Чем? -- Да всем, чего в городе не купить -- чулками, иголками, нитками, трусами... Главный же товар тут был -- бюстгальтеры, вот их-то уж просто в продаже никогда не было.

Клекот стоял в уборной потрясающий -- татарский, чувашский и русский сливались во всем понятном "воляпюке"; бюстгальтеры вырывали друг у друга из рук, женщины, не стесняясь, их примеряли, спустив ситцевую кофту; одни тут

курили, другие выпивали с закуской! Словом, это был клуб, порожденный самой жизнью. Впрочем, милиция не дремала, подчас врывается в это женское чистилище и всех разгоняла -- но конечно, не надолго.

У большинства ульяновских жителей была во дворе деревянная будка. В сентябре, этак в последних числах, люди выходили на улицу, стояли перед домом и... сторожили: не проедет ли "Самсониха"? Так называли ассенизационный обоз города Ульяновска, по фамилии председательницы этого "института" товарища Самсоновой. Говорят, она сама была славная женщина средних лет, прошедшая всю войну на фронте, награжденная боевыми орденами. Обоз же был в виде дрог, запряженных быком, на них бочка, а управлял быком и дрогами рабочий в клеенчатом халате с капюшоном, в высоких, выше колен сапогах и... с черпалкой и ведром в руках. Запись на "очищение" делалась в жилотделе, а вот когда бык к вам заедет, это уж совсем неизвестно, да и "Самсониха" увозила только одну бочку, и уговорить и умолить возницу заехать еще раз требовало порядочного бакшиша... О том, что едет "Самсониха", передавали друг другу из дома в дом, чтобы соседи не пропустили. Когда мы с Никитой уже жили на Советской, мои соседи, Валерий Михайлович Михайлов, председатель Финотдела Горсовета, и его супруга Мария Алексеевна -- люди с большим достатком, наотрез отказывались заплатить за вторичный заезд к нам во двор "Самсонихи", и приходилось мне из моих жалких грошей это делать... А последние два года они и совсем отказались платить, сказав, что они "во двор" не ходят и заметив мое удивление, пояснили, что у них в сенях "ведро".

Симбирск до революции насчитывал около сорока тысяч жителей; город был чистенький, повсюду деревянные мостки для пешеходов, славился яблоками, конской ярмаркой, мастерами-кожевниками и рядом прекрасных особняков, принадлежавших симбирским помещикам, таким богатым и родовитым, как Огаревы, Оболенские, Языковы, Орловы и др., владевшим в этой обширной губернии целыми латифундиями, и местному купечеству. В магазинах все было, и сам великий сексот Николай Васильевич Романов мне рассказывал, как он, возвращаясь со службы, где работал счетоводом, заходил на Гончаровке "к Елисееву" и покупал там зимой своим детям за пять копеек чудную грушу "дюшес".

Да был Симбирск тоже город ссыльных, за последние два царствования там осело вольных и невольных ссыльных поселенцев достаточно; они держались особняком, но все же как-то смягчали "глухость".

А было ли в Ульяновске хоть что-нибудь, о чем можно бы сейчас, через тридцать лет, вспомнить без отвращения и злобы, а с радостью? Во-первых, был там Венец и вид на Волгу, а она тут целый километр ширины! Город стоит на высоком берегу, сто десять метров над рекой, и эта ширь, этот простор, эти заливные луга (которых уже больше нет -- их затопили Ульяновским морем в конце пятидесятых годов)... Когда уж становилось не под силу, я ходила посидеть на лавочке на Венец, и всегда там обретала успокоение, утешение и смирение. Особенно хорошо там было в конце июля, когда внизу, вправо от города, шел покос на заливных лугах - что это был за аромат! Сам Венец, высокая набережная над Волгой, в то время еще не был

затронут современным строительством, дома были небольшие, деревянные, с резьбой и наличниками, тротуар был совсем плох, мостовая и того хуже. Однако существовал скверик при входе на Венец из города, где был памятник воинам, погибшим во Вторую Мировую войну, и вокруг разбит отличный цветник, чистенький, посыпанный красным песочком -- глаз отдыхал на этом скромном садике от уродства города, от его грязи и плакатов.

Второе -- "Дворец Книги". Он и в самом деле был во дворце, когда-то построенном архитектором Коринфским; это -- одна из самых богатых библиотек в советской провинции - раньше тут жил симбирский губернатор. Там я со многими подружилась и познакомилась, и в первую голову, конечно, с заведующими иностранным отделом, а их за пять лет было три, и все по-своему милые, вежливые, приятные. Первая была немолодая -- Ольга Васильевна Огарева, но она через год ушла на покой; ее сменила Мария Васильевна Любимова -- однако она совсем не знала иностранных языков, и при случае я ей помогала. Третья, совсем юная барышня Зоя, недурно знала французский, немного английский и немецкий, и долгие годы тут потом проработала. В иностранном отделе было около девяти тысяч книг -- больше, конечно, французских, но и английских немало; все это было из симбирских дворянских гнезд - почему-то в свое время все не сожгли. Много было романов "Tauchnitz Edition", дешевые книги, которые читались в спальном вагоне по пути домой из-за границы, была и вся французская классика, и малые писатели начала века, вроде Пьера Лоти, Поля Бурже или Клода Фаррера; как-то я напала там на полное собрание журнала L'Illustration, с года основания 1857 и вплоть до 1916. Мы с Никитой брали их домой -по сорок-пятьдесят номеров, и по вечерам читали, любовались -- когда-то на Кировной мы аккуратно каждую неделю получали этот журнал!

Главный французский фонд был из библиотеки богача-татарина, владельца ткацкой фабрики, и на каждой книжке был его ex-libris. До войны было в иностранном отделе и множество немецких книг, некоторые даже ценные, но во время войны их изъяли, не то просто сожгли... Если и были какие-то жалкие немецкие книжонки, то главным образом учебные или там Шиллер, Гете -- не более.

Директором Дворца Книги в те годы была очень дельная и активная особа, а прежде она тут работала уборщицей... Я к ней иногда заходила в кабинет, садилась, мы вели беседу и всегда расставались самым дружеским образом; у нее был талант администратора, сотрудников по библиотечному делу она подобрала на славу. Попасть на практику в ульяновский Дворец Книги мечтали все студенты Библиотечного Института в Левобережной под Москвой. Да и читальный зал был великолепен -- громадный, просторный, с высоким лепным потолком; я нередко туда ходила посидеть, брала какую-нибудь редкую монографию по искусству армянскому, грузинскому, персидскому -- что-то абсолютно вне ульяновской жизни, и отдыхала, разглядывая рисунки и любуясь изредка из окон зала на чудесный пейзаж: Венец, Волга!

Конечно, были и в Ульяновске добрые отзывчивые люди; если бы их не было, ни я, ни Никита этих страшных пяти лет не выдержали бы. Эти люди лучше всего



украшали Ульяновск -- жесткий, неприветливый, замусоренный волжский город сталинской эпохи.

## Одни

Начался второй год нашего одиночества и казалось, худо-плохо, но мы с Никитой получили свой угол и чудом отделались от ненавистного соседства с четой сексотов Романовых; тут, за стеной, тоже были соседи, много выше по советской "табели о рангах"; они активно нам не вредили -- но ненавидели или вернее, презирали нас. Что про них сказать? Сам В.М. Михайлов, инспектор финансов в Горисполкоме, меня вообще не замечал -- будто и не видел. Его жена -- "Салтычиха", как все ее в городе звали, -- сперва даже была со мной любезна; верно, и она думала, что у меня еще сохранились "парижские вещички", и их можно будет задешево приобрести. Но вскоре она от меня отвернулась и больше со мной не разговаривала. Ее дочь Нина Валерьевна была вторично замужем за агрономом Василием Ивановичем - первого мужа, офицера, потеряла в первые дни войны. И был еще ее сын Олег, мальчик лет 11-ти, милый, воспитанный. Василий Иванович был лет на 25-30 старше своей жены; человек старого закала, он пасынка своего отлично воспитывал, а тот тоже любил его и слушался. Все хозяйство вела старшая сестра Салтычихи -- старая дева Агриппина Алексеевна, черствая, озлобленная, жившая тут из милости и весьма побаивавшаяся своей сестры. Все мои объяснения или малоприятные пререкания по поводу... моего кота Васьки или не выгребенного снега во дворе, по поводу Самсоных, ну, и так далее -- все у меня было именно с ней, сухонькой Агриппиной Алексеевной в постоянном, неизвестного цвета халате до пола; в Ульяновске считалось приличным, чтобы старухи были так одеты. Но, конечно, иногда возникали вопросы поважнее - в первые 2-3 месяца нашей жизни в бывшей кухне-прачечной Горсовет два раза грубо и не скрываясь, наступая тяжелыми орудиями, всячески пытался меня оттуда выселить... Но я, ощерясь, как голодный пес, защищалась, будто не чувствуя страха перед властями -- страх остаться с Никитой "без площади" и быть выселенной в ближний колхоз был много сильнее. Да я уж в это время отлично поняла, что мне надо постоянно отругиваться, говорить дерзко, кто бы там ни был, нападать: "Ну, не на такую напали!!!" -- или же: "Не такая я дура, как вы думаете".

Я была вечно насторожена, всякий день ждала откуда-то нового удара. Я уже тогда стала много курить, ну, а дальше - больше, докурившись чуть ли не до смерти!

Первое нападение произошло очень быстро, недели через три после отъезда Марии Федоровны в Омск: мне сказал кто-то, может быть в Переселенческом Отделе, что маленькие, нерентабельные жактовские дома "решено" продать жильцам. Часов в одиннадцать утра постучали в дверь, я вышла в сени и увидела группу из четырех человек, и во главе их стоял... сам председатель Горисполкома -- каким-то образом я его знала в лицо. Он все же слегка приподнял фетровую шляпу и сразу заявил: "Я к вам по делу, вы, верно, знаете, что решено продать жильцам площадь с низкой квартплатой... Вот эта комната как раз и будет продаваться -- что

ж, думаете купить?" Я довольно долго молчала, и горкомовская делегация спокойно меня разглядывала...

"Ну что же, -- ответила я председателю Ульяновского Горисполкома, -- может, и купила бы... все зависит от цены и от условий". А в голове беспорядочно несутся отрывки мысли: что еще ответить, как их отвадить, как не уступить по-глупому это свое последнее убежище!

-- Наша цена -- десять тысяч и обязательный капитальный ремонт, -- говорит мне председатель.

-- Что вы, смеетесь?! Да кто же такую цену за эту развалину даст? -- Посмотрите, вся завалинка провалилась, в сенях громадные щели -- тут одного ремонта на десять тысяч!

-- И сколько же вы предлагаете? -- спрашивает он, вся их группа наполовину вошла в кухню и рассматривают покоробленный пол, почерневшую русскую печь, бревна, из которых выпал шпагат...

Говорю как можно спокойнее и равнодушнее: "Тысячи три можно... ну, конечно с рассрочкой, скажем, по тысяче в год-- это я бы согласилась". Он разводит руками: "Да что это вы говорите, ведь это же почти центр города... нет, нет... ну, да у нас уже есть и другие, кто хотел бы купить!..."

Ага! Вот оно! Делаю шаг вперед прямо на него, меняю резко тон, почти кричу на него: "Вы, Алексей Семенович, и не думайте другим, я не допущу -- я жила на Рылеевой -- меня выселили ни за что, да хотели загнать на Свягу, где и днем страшно пройти, не то что ночью! Нет, нет, вы, видно, думаете, что так и будете меня и сына катать, как в миллиарде шары из лузы в лузу -- нет, вам не удастся! У меня сын работает на заводе, учится в вечерней школе -- не хотите моей цены -- не надо, я здесь живу, и никому другому продать не имеете права!!"

Председатель Горисполкома молчит, группа сопровождающих тоже -- впрочем, я их голоса и вообще не слыхала... Он опять слегка приподнимает шляпу и... они все уходят, калитка хлопает -- и так никогда и не возвращаются...

Как будто все не так и страшно... через тридцать лет в Париже, конечно; тогда же казалось, вот "они" меня преследуют нарочно, именно меня; но вряд ли это так было; всюду, в любом городе в СССР в те годы жилая комната (не квартира, конечно, о квартире никто кроме аппаратчиков и не мечтал), всякая жилая площадь была объектом безжалостной борьбы.

Вторая попытка -- на этот раз уж и против Михайловых тоже -- случилась недели через две; В.М. Михайлову заявили в Горисполкоме, а потом о том же последовала и официальная бумага, что в Ульяновск выехала из Ленинграда археологическая экспедиция, пробудет там целый год, и ей отведен именно дом, где жили Михайловы и мы. Соседи мои напугались не на шутку, вели себя солидарно со

мною, бегали подавать жалобу прокурору, я, впрочем, тоже; двери и окна держали крепко закрытыми, так же как и калитку во дворе... Суматоха эта длилась несколько дней и потом внезапно сама собой выдохлась -- археологическая экспедиция до Ульяновска так и не доехала, и больше никогда о ней нигде не было сказано ни слова.

Стало холодать; сразу после Покрова я протерла три маленьких окна в моем жилище, проложила рамы кругленьким валиком ваты и тщательно обклеила их газетными полосами. В то же время во двор наш "завезли" с завода 5 кубометров дров. Надо было их распилить, наколоть, сложить: многое мы с Никитой сами пилили, но не все; колоть ни он, ни я не умели, и пришлось нанять мужиков. А складывала их в поленницу я сама -- у Никиты с заводом и школой просто времени не было". В эту осень я все же запасла лук - училась плести его в косы и вешать на кухне, закупила "Геркулес" -- ведь он имелся в магазинах только осенью в течение двух, трех недель.

Но не надо Думать, что это я была такая догадливая и хозяйственная -- всему меня научила милейшая соседка из дома рядом с нами, Екатерина Николаевна Венцер. Она сама как-то постучалась, вошла и сказала: "А я пришла к вам познакомиться, ведь мы соседи -- вы ничего не имеете против?" Она жила в самом конце нашего тупика, и как ни странно, сумела сохранить собственный дом, где занимала две комнаты и кухню, а остальные комнаты сдавала. С ней жили две дочки -- Ирочка (Иродиада) и Марина; обе еще были студентками -- Марина была милостивая, застенчивая, провинциальная девица; старшая же, Ирочка, была красавица -- высокая, статная, голубоглазая блондинка, смотрела на всех с презрением и превосходством; окончив Институт молочного хозяйства в Казани и получив направление в Ульяновск, тут же вступила в партию и во всем держала себя с тех пор неукоснительно "партийно".

Я начала изредка заходить к Екатерине Николаевне и быстро заметила, что Ирочка чрезвычайно недовольна этим; а уж позже, в 1953-54 гг. я просто избегала к ним заходить, когда она была дома. Екатерина Николаевна, кроме того, почти каждое утро приходила ко мне с двумя громадными ведрами за водой -- ведь в моей кухне был кран; правда, зимой он аккуратно замерзал, и приходилось звать водопроводчиков, чтобы его оттаивать -- но ведь это был люкс, иметь дома кран -- ближайшая колонка, которая не замерзала, была в километре от нас... Почти каждое утро Екатерина Николаевна приходила за водой и вскоре начала каждый месяц давать мне 30 рублей -- я сперва отказывалась, но пришлось согласиться, я поняла, что это какая-то, хоть и скромная, но все же денежная помощь, и нельзя ее обижать отказом.

Вот это знакомство было, пожалуй, единственным событием в однообразной, жалкой, какой-то мерзкой жизни, которая тянулась этот первый год на новой квартире; да и не только этот год, а и все темное время вплоть до смерти Сталина, казалось, так вот всегда и будет безысходно, безнадежно, и каждый день начинался одинаково: как на что прожить этот день, куда пойти, кого умолить? -- ответа не

было. Эти годы у меня в памяти путаются, будто все они составили один длинный год; как писал Поприщин -- "числа не помню, года тоже не было..."

Однако той осенью мы совершили с Никитой памятный поход -- на прием к Прокурору войск МВД Ульяновской Области -- мысль эта была не моя, а Никитина -- он много лучше меня разбирался в том, кто есть кто, и почему-то знал, что можно без особого риска жаловаться Прокурору на страшных людей в мундирах и в штатском, которые год тому назад увели ни за что его отца, и уж вот год ничего мы так и не узнали -- где же он, на какой срок? Словом, Никита меня убедил пойти, и мы пошли в какой-то очень старинный дом и записались на прием на следующий день. Когда пришли, немного подождали в приемной, и секретарша сказала: "Проходите". Мы вошли в громадный кабинет, где за столом сидел генерал в мундире, очень видный, ладный, по виду природный татарин, и фамилия его была тоже татарская -- Мурзаев. На его вопрос: в чем собственно дело? -- я ему ответила, что вот уж год, как мой муж задержан чинами МВД, и вот, несмотря на все мои запросы и хлопоты, я никак не могу узнать, где он, не знаю даже, жив ли он? Мурзаев, немного помолчав, сказал: "Словом, вы хотите сказать, что вот ваш муж был и нет его, взял и пропал, как иголка в сене?"

-- Ну, я этого выражения не имела в виду, однако раз уж сами так говорите, то правильно: именно пропал, как иголка в сене.

Он встал - был грузный, но не толстый, и громадного роста, подошел к столу посередине кабинета, на котором стояло два или три телефона, покрутил какой-то номер и сказал внушительно: "Дайте мне... (фамилию не помню, к сожалению)... Послушай, тут у меня гражданка, она с жалобой пришла, Кривошеина Нина Алексеевна, говорит, что больше года не знает, где муж и что с ним".

Длинная пауза. - "Ну, значит исполнишь, а то так не годится", - и повесил трубку... Обернулся ко мне, на его скуластом лице с четко нарисованными бровями было скорее приветливое выражение, или может быть, мне хотелось его таким увидеть? Из всех этих людей он первый показался мне обычным человеком, а не злым заводным автоматом.

Я встала: "Благодарю вас, значит я могу надеяться получить ответ?" -- "Получите, получите очень скоро". Когда вернулись домой, было очень страшно - Боже, а что если "они" начнут нам мстить?

Через неделю приходит утром сотрудник МВД Давыдов, я и его уже тоже знала - пожалуй, один из самых противных; здороваясь, щелкает каблуками. "Что вам угодно?" -- "Да вот, принес вам решение суда про вашего мужа и номер почтового ящика"... И помолчав: "Что же это вы жалуетесь? Я вам уж раз извещение приносил, а вы говорите -- ничего не известно!..."

"Нет, нет, это вы первый раз приносите, сегодня -- оно и понятно, а раньше извещения не было". Давыдов очень настаивает: "Да нет, я сам приходил, а вас не было, и я под дверь сеней просунул". Тут я уж ему не спускаю: "Вы говорите что-то

не то, разве такие бумаги подсовывают под дверь? Из рук в руки передают, вот как сейчас -- а впрочем, принесли, и все в порядке". Он недоволен, откланялся, уходит. Приговор -- "лишение свободы на 10 лет".

Я чувствую себя абсолютно беспомощно, знаю, что это очень плохо, что это наклонная плоскость - вниз, вниз! А ведь необходимо поддерживать ритм каждодневной жизни, чтобы Никите казалось, что мы живем нормально, что у нас есть шансы и дальше жить... дожить... До чего, собственно? Вот дедушка Александр Иванович Угримов посылает нам из Майны, где он живет и работает на Селекционной станции, целых четыре мешка картошки, килограмм 80, может быть и больше. Посередине комнаты в полу подъемный люк с железной ручкой -- внизу подвал. Сперва мы ставим мешки в кухне между окном и русской печкой, но в середине декабря я замечаю, что есть много померзших картофелин, и мы вдвоем таскаем нетронутую картошку и ссыпаем ее в подвал, он очень глубокий. Никакой лесенки у нас, конечно, нет; я туда прыгаю, и Никита сыплет мне картошку на ноги и на голову. Тут же я раскладываю 10 или 12 "вилков" капусты, авось и она там сохранится. Это, конечно, гадательно -- ведь я первый раз в жизни проделываю такую операцию.

Утром, в темноте, бужу Никиту; он как куль валится назад на кровать -- я его тереблю, тащу за руки, за волосы -- ведь если он хоть на одну минуту опоздает на завод, ему грозит два года лагерей. Наконец, он одет, попил кипящего фруктового отвара с куском липкого черного хлеба (иногда удается достать маргарин -- тогда хлеб мажу маргарином) и шатаясь от недосыпа, выходит из дома.

Всю эту зиму мы ужасно мерзли в нашей девятиметровой комнате, где стояли две койки, колченогий стол и стул, табурет, еще изготовленный для нас ОРСом, а в кухне стояли одна на другой две плетеные корзины, к этому времени уж почти пустые, два чемодана -- вот и все, чем мы владели. Окна были занавешены марлей, я ее изредка добывала в дружественной аптеке. В сенях были две полки для хранения продуктов в зимнее время. Бедно, это еще полбеда, а вот холод зимой в этой бывшей кухне был невыносимый. В январе-феврале часто в комнате бывало 5-6 градусов. В конце концов я не выдерживала и накидывала шубу, надевала валенки, дошло до того, что несколько недель подряд я просто спала в шубе, только валенки скидывала -- на голове, конечно, теплый платок. Никита легче переносил холод дома; на заводе, в мастерской у станка было все же тепло в ватнике, вечером в школе тоже было хорошо топлено. А как мы прожили, как было с деньгами, откуда? 250 Никитиных рублей не могло хватать... Не знаю, ничего не могу вспомнить. Помню отдельные факты -- вот как-то на базаре я подумала, что уж больше двух месяцев Никита не ел мяса, быстро подошла к мясному ряду и скорее, скорее, чтобы не передумать, купила хорошую отбивную котлету. Никита, придя с завода, сел за стол и когда я ему подала котлету с жареной картошкой, оторопел, потом спросил меня: "Мама, да это мясо?!" -- Я говорю: "Да, да, ешь, хорошая свинина, так давно не ел". Он посидел, закрыл лицо руками и начал громко плакать, плакал долго, котлета стыла... Потом он ее съел, выпил чаю, повалился на кровать и будто в изнеможении от избытка пищи, проспал до вечера.

Было и что-то положительное в это скудное время: переход в Вечернюю Школу Рабочей молодежи (я уже про нее упоминала). Там неожиданно царила атмосфера взаимной солидарности -- никто никого не "подсиживал" -- всем надо было доучиться. Директор Филиппов и все преподаватели старались помочь ученикам -- ведь они приходили усталые, а некоторые и голодные, как и Никита. Оказалось, что таких, "без отца", было и еще несколько человек в школе -- словом, все попали туда и по необходимости доучиться, и по решимости пройти эти три трудных года одновременного учения и работы. Пока Никите не было еще 16 лет и он был на заводе учеником -- его не имели права назначать в ночную смену, но когда ему пришлось работать по ночам, спать днем, готовить уроки и вечером идти в школу, казалось, он враз все бросит, не пойдет ни на завод, ни в школу -- а просто как следует выспится...

После моего неудачного появления в Управлении ночных сторожей я сама пыталась устроить себе регулярную работу, всюду сразу соглашались, но... через два дня всюду был одинаковый ответ: "Жалеем, но место уже занято"..Этой зимой Золинова снова вызвала меня в Переселенческое Управление и предложила работать ночным сторожем. Я сразу даже не поняла -- как это? Ночью в тулупе и с ружьем? Да где же это? Оказалось, что она предлагает мне охранять самый большой универмаг Ульяновска, в здании бывшей немецкой Кирхи -- громадном и уродливом.

Я не сразу ответила, чувствовала, что мне роют яму, потом заявила, что уж лучше умру от голода у себя на кровати, чем меня ножами будут полосовать хулиганы ночью в мороз -- и добавила: "А тулуп я и одеть не могу, во первых, он мне велик и тяжел,... да и там вшей полно, я это отлично знаю!"

Через несколько дней стучат в сени, открываю -- а главный инспектор из Переселенческого, особа не более приятная, чем начальница. "Что, в чем дело?" -- садится у моего колченого столика, вынимает какую-то бумагу: "Вот видите, вы на днях отказались от предложенного вам труда (именно "труда", а не работы, так она и сказала) -- вот пожалуйста, распишитесь здесь", -- и подсовывает мне листок.

Отгалкиваю ее руку довольно резко: "Нет, нет, -- говорю, и не уговаривайте, что ж вы думаете, я не понимаю, что вы потом мне предложите "труд" где-нибудь в колхозе -- нет, это никак не выйдет". Она уходит, не попрощавшись, а я долго без сил сижу на стуле.

... Ту бедную старуху, много-много старше меня, которая пошла сторожить универмаг в Кирхе, через неделю ночью молодцы исполосовали писками и поранили ножами, ключи у ней выхватили и немало награбили.

\*\*\*

Весной кое-что оставшееся из платья и не вошедшее в опись продаю сама на барахолке... Продаю плохо, мучительно, все за полцены... Так уходит совсем новое парижское летнее платье, отличная, мягкой шагреновой кожи сумочка -- больше уж

ничего не остается. В мае неожиданно получаю от двоюродной сестры Игоря Александровича из Берлина посылку: шерстяной дамский свитер и... перевод на 200 рублей! От кого она про нас узнала -- непонятно; и она, и ее муж Григорий Эрастович Тулубьев тоже высланы из Франции в 1951 г. (из-за советского паспорта --последствие холодной войны), в СССР их не принимают, и они оба отлично устроены в советских магазинах в Берлине... Свитер ужасного сиреневого цвета вырви-глаз, но... он шерстяной, и я в тот же день продаю его... Что ж, опять живем!

В июле Никите исполняется 16 лет, и он почти сразу уходит с заводской группой на уборку хлеба в недалекий колхоз, а я, найдя через жилотдел печника, занимаюсь переделкой печки, вторую зиму жить в таком холоде -- и думать страшно. Жилотдел дает половину суммы на эту переделку. Печник Гриша, отличный мастер, сумел из колхоза удрать и прописаться в городе, и недавно даже жену к себе выписал. Он работает быстро и ловко; в два дня старая печь разобрана, все кирпичи на полу. Гриша говорит: "А на улицу уж тащи все сама, я строить буду, а щепень убирать не обязан". Никита тяжело болен, пришел в начале августа из колхоза со страшнейшей дизентерией -- приезжают за ним из больницы на Скорой помощи: он упирается, кидается в угол, кричит: "Не поеду, не поеду, боюсь в больницу!" У самого губы синие, лицо пожелтело, на ногах еле держится. "Ты, парень, не дури, - говорит медсестра, - знаешь, какая в области эпидемия? -- А то с милицией вернись!" Я с трудом уговариваю его. Через день иду его навестить, выходит в больничный сад докторша, говорит, что он не может пока встать, высокая температура, а в барак входить запрещено. "Приходите дня через два".

-- Теперь Никита, шатаясь, белый, сам выходит ко мне, ему уже немного лучше... Днем складываю кирпичи в мешок и таскаю их во двор; словом, времени размышлять и тревожиться -- мало...

Еще встреча того времени вскоре после переезда: как-то иду, ни на кого не глядя, и сталкиваюсь с пожилой преподавательницей из Пединститута. Остановившись, беседуем, вдруг она говорит и видно, что стесняется: "Скажите, Нина Алексеевна, ну как же вы живете, на что?" -- Отвечаю: "Да плохо..." -- "Но что же вы едите? Как вы питаетесь?" -- "Ну, сейчас, -- говорю ей, -- ничего, мы все еще шкап едим"... Она умолкает, видно не сразу поняла. "Но деньги есть у вас?" -- Честно отвечаю: "Нет, денег больше нет". -- "Нисколько?" Она нервно открывает сумку, роется, находит всего три рубля. "Боже мой, у меня с собой больше и нету -- но можно вам хоть эти три рубля предложить?" Мы молчим, я протягиваю руку и отвечаю: "Да, да, конечно можно, спасибо". Она подает мне трехрублевку и мы расстаемся.

А вот я иду по Гончаровке, народу много, наверно в Гастрономе что-нибудь "выкинули"; кто-то хватает меня за руку -- "Здравствуйте, здравствуйте!"... Это Зинаида Васильевна, я ее знала еще на Рылеевой, она жила против нас с сестрой своей -- обе преподавательницы в техникуме. Она мне говорит торопливо и тихонько: "Идите на тот угол, вернитесь и сделайте вид, что только что меня увидели". В толпе на нас никто не смотрит: перехожу на другой угол, возвращаюсь, подхожу и громко вскрикиваю: "А, Зинаида Васильевна! Как вы? Вот как я рада вас встретить!" Она подает мне руку, крепкий shake-hand и... в моей ладони остается

двадцатипятирублевка!... А я сразу и понять не могла -- как это она догадалась вот так при людях сделать запретное, передать мне помощь?

В тот вечер, в ту ночь, был у меня великий спор с самой собой -- как быть? Что же это: я принуждена на улице принимать милостыню - как нищие на паперти. Я поняла, что не только можно, но и должно принимать всякую помощь, что иначе я и не имею права. Оказалось, смирение и нищета идут всегда рядом, вместе. А горделивые свои замашки и снобизм я спрятала в эту ночь далеко; я даже решила, что, если бы не Никита и его голодная, злая юность, хорошо иметь только кровать, стол, стул и две пустых корзины, ведь так можно долго жить, и удивительно легко!

... Уже под осень иду через мост; на панели весы, рядом мужик -- взвешиваться стоит всего пятьдесят копеек... Становлюсь на весы -- интересно, сколько потянет? Больше двух лет как не знаю, какой у меня вес. Оказывается - тридцать восемь килограммов, ну, да на мне шерстяной костюм и сапоги спортивные, еще парижские -- значит, не больше тридцати шести... Недалеко до узника Бухенвальда! А если и еще так дальше, вдруг свалюсь и не встану? Чудный, (прозрачный осенний день, мне холодно, страшно -- значит я сама себя уже и не вижу !..

\*\*\*

Но вот осень 1951 г.; правда, дрова запасены через завод, но денег нет; податься некуда, и я получаю от МВД через того же Мурзаева разрешение продать шерстяной отрез на мужской костюм, который тоже числился в описи при аресте. Долго отрез не залеживается, и я его продаю через ту же Александру Федоровну Романову -- она снова ко мне повадилась, это уж, верно, по работе, или просто надеется, что есть еще у меня что продавать и что она поживится?..

Никита ведет со мной строгий разговор: "Купите на эти деньги пишущую машинку и будете печатать диссертации" - "Да ведь мы же погибаем, вот уж одно продали, другое -- теперь этот отрез, а дальше что?" -- "Ну, еще шуба моя осталась". Мы спорим полночи; я внезапно понимаю, что Никита не меньше меня встревожен, в ужасе -- неужели ему не удастся доучиться? "Ну, как дальше, мама, как?" Иду на следующий день в канцелярию Пединститута, к милой секретарше Трегубовой; она качает головой -- вряд ли это возможно. На пишущую машинку требуется разрешение (я этого не знала), да у многих в городе завелись трофейные -- из Германии. "Да вот, -- добавляет она, -- пройдите к жене профессора Любищева, она стенограф и машинистка, все мужу печатает, она вам лучше посоветует". Я смущена, это неудобно; но Трегубова говорит: "Что вы, что вы, они чудные люди... Да вы скажите, что от меня".

Иду, тут недалеко -- это тоже пединститутский Дом; до 1917 г. в нем было Епархиальное управление, а теперь, внизу громадная студенческая столовая, а наверху библиотека и рядом дверь -- квартира Любищева. Долгие годы в этом доме размещалось ЧК Ульяновской области.



Дверь открывает пожилая женщина, но сразу выходит и сама Ольга Петровна Любищева: полная, одета в нарядный домашний халат -- на вид лет пятьдесят пять; у нее ровная манера, дай картавит она по-петербургски, я быстро преодолеваю смущение и объясняю ей, от кого к ней пришла и в чем дело. Она, видно, удивлена, но потом сразу понимает, что именно меня интересует. Покупать пишущую машинку, слегка подумав, не советует -- просто нет смысла... -- "Но вот вы ведь печатаете?" -- "Ну, отвечает она, я жена профессора, заведующего в институте кафедрой, и вполне нормально, что мужу и его аспирантам печатаю работы, да и пишущая машинка у меня еще с фронта... Впрочем, вам и купить вряд ли удастся".

Раскланиваюсь, благодарю за совет -- "Извините, что побеспокоила"... Она провожает меня до двери и внезапно спрашивает: "Простите, а как вас зовут, я что-то плохо расслышала?.." Отвечаю: "Меня зовут Нина Алексеевна Кривошеина" -- "... Ох! Господи!" -- и под это ее восклицание ухожу домой с тяжелым сердцем: нет, нам нет исхода, в голове все яснее стучит мысль -- уж она не раз приходила -- надо броситься в Волгу и обязательно с камнем, чтобы не было неравной борьбы с ледяной водой, чтобы поскорее... Ну, а Никита? Еще немного надо подождать, а ведь замерзает, уж не в прорубь же? А может обоим вместе? -- Нет, на это у меня права нет, как-нибудь Никита выживет один...

Вечером все рассказываю Никите; он в полном отчаянии, но главное, корит меня: "Мама, как же это вы незваная -- к чужим людям? Ведь это ужасно -- до чего мы дошли!" Подумаешь, какие уж тут приличия... Однако это тоже нелегко дается, так постепенно скользить под гору. На следующее утро ко мне в сени стучат -- стоит полная, незнакомая особа, пожилая, круглолицая, одета более чем скромно -- вечный серый советский берет на голове и темное осеннее пальто -- говорит: "Я к вам по поводу уроков -- вы ведь даете уроки французского и английского?" Ого, уж не подвох ли от фининспектора? Отнекиваюсь -- нет, нет, это какая-то ошибка, никаких уроков не даю. Но она стоит упорно, не уходит и... глаза у нее серые, очень ласковые, да и все ее круглое лицо вдруг кажется таким хорошим... "Извините, -- говорю, -- кто вы?" -- "Сестра Александра Александровича Любищева, вы ведь вчера у нас были, да меня, верно, не заметили. Я вот вам принесла сто рублей, это от Оленьки, от жены брата, в счет будущих уроков французского..." И она замолкает.

"Каких уроков? Об этом не было речи вчера, за что же эти деньги?" Но она сует мне сто рублей в руки, приговаривает: "Берите, берите, а то Оленька обидится. Да, я чуть не забыла, приходите к нам завтра, в воскресенье, обедать, ровно к двум часам, мы все вас ждем... Значит, до завтра". И она быстро уходит.

На следующий день вхожу в уже знакомый мне подъезд, поднимаюсь по старинной чугунной лестнице, но вхожу не в правую дверь (а я ее хорошо знаю, там две библиотекариши, и мы давно дружим, они мне второй год дают даром все учебники для Никиты, а я им перевожу заголовки и примечания к иностранным книгам). В этот раз звоню в дверь, где была позавчера "незваная", и сразу, войдя, знакомлюсь с самим Любищевым. Меня уже ждут, стол накрыт. Из кухни выходит та дама, что вчера была у меня -- ее зовут Любовь Александровна.

Все так просто, так приятно, снова по-человечески сесть за стол, беседовать с людьми на знакомом мне языке, быть в настоящей квартире... Но и люди чудные -- каждый по-своему. Я понимаю, что они все про нас знают. Александр Александрович даже и упоминает, что вчера вечером "случайно" встретил Надежду Яковлевну -- "Вы ведь с ней знакомы?" - "Как же, как же, но... сейчас редко встречаемся, это когда работала в Пединституте"...

Знакомство, а дальше дружба с Любичевыми сделались не сразу; первое время они ко мне присматривались, разбирались, что это за подстреленная птица влетела к ним, не постучав, в окно? Ну, это и понятно -- иначе было бы неестественно, такое было время... А я? Я трудно сходилась с людьми, не то, что пуд соли вместе съесть, а пожалуй, и побольше! Однако я поверила своей вечной примете: точно и ясно составить себе мнение о новом мне человеке при первом рукопожатии. Думаю, что никогда не обманулась. Все Любичевы мне сразу пришлись по душе; скоро это знакомство мне стало казаться естественным. А то, что я пошла к ним в дом не своей волей, со временем стало казаться событием особенным, чуть ли не сверхестественным. Тут был брошен якорь, и судьба медленно, будто и нехотя, менялась, будто хотела стать милостивее...

Мне бы хотелось подробно написать про Александра Александровича, постараться воссоздать его образ... Какой он был приветливый, какой особый! Подчас смешной, веселый, чудачил охотно; любил показаться совсем простым, незатейливым; внезапно загорался, доказывал, грозно обличал и... весь преображался. Как он настойчиво и прилежно работал -- это был основной стержень всей его жизни, он свою науку яростно защищал[\*].

Иногда Александр Александрович начинал сам расспрашивать про все, что я видела и пережила за 25 лет эмиграции и чего он не знал. Его интересовало все: люди, города, путешествия; особенно же война, участие Игоря Александровича в движении Сопротивления в о Франции, мои хождения в Гестапо, оккупированный Париж, освобождение Парижа -- он слушал внимательно, запоминал: про лекции Бердяева, про мать Марию, про балет Дягилева. А мне было приятно все ему рассказывать: про нашу жизнь в Париже, про моего отца, словом, многое из того, о чем я уже упоминала в этих записках.

У Любичевых я часто встречала Надежду Яковлевну; иногда мы с ней вместе ходили в баню -- там можно было спокойно поговорить: мы брали номер, и в нем, к счастью, стояла ванна, где я и мылась, положив в нее сперва чистую простыню, как это нарисовано на старинных французских эстампах! -- Сесть на "лавку" и так мыться я никогда не решилась! Помимо Надежды Яковлевны были и многие другие друзья Любичевых, с которыми я более или менее близко у них познакомилась, так что я попала в круг людей образованных, и они, знакомясь со мной у Любичева, относились ко мне хорошо -- однако, никто из них никогда ко мне в мою кухню не пришел.

Поздней осенью Никита поехал в Москву с целью добиться свидания с Игорем Александровичем -- он прикопил немного денег из своих заработков, а ночевал в

Москве у двоюродного брата Игоря Александровича, Геннадия Тимофеевича Карпова; это -- один из пятидесяти кузенов, внуков Марии Федоровны Морозовой; был он музыкантом и преподавал в музыкальной школе имени Дунаевского; женился поздно, на провинциальной актрисе -- дочке его Маше тогда было пять лет. В юности он был "лишенцем", доучиться по-настоящему не смог; отец его, Тимофей Геннадиевич, погиб в ссылке в начале революции, он жил в полном страхе всего, поэтому все хвалил и всем восторгался -- это было принципом его существования; понемногу он стал алкоголиком... Так, видимо, ему было легче. Из всей обширной родни Игоря Александровича, проживавшей тогда постоянно в Москве, он один открыл нам двери, и Никита поехал к нему по следу Игоря Александровича, который еще зимой 1949 г. побывал в Москве в командировке и остановился именно у Геннадия; в ту пору Министерство Электростроения ласково принимало Игоря Александровича -- его работу хвалили и обещали, что вот-вот, скоро, его переведут в Москву... Но вышло иначе, Игорь Александрович в Москву не попал, а оказался в знаменитом теперь Марфине под Москвой, о котором рассказал А. Солженицын в романе В круге первом.

Как только он туда попал, он смог нам написать и дать свой адрес: п/я 68, Московский почтамт. Никита решил, что он поедет к нему и добьется свидания с отцом. После нескольких дней мытарства по разным приемным Никита получил разрешение на свидание, о чем написал мне сразу же; вечером я пошла бросить ему письмо и зашла к Любищевым; все рассказала и уже торопилась уйти, как вдруг Александр Александрович меня остановил и крикнул вслед: "Скажите, фамилия Беклемишевы вам что-нибудь говорит?" -- "Как же, это лучшие друзья всех Кривошеиных, особенно старших братьев Игоря Александровича -- Олега и Васи, да и много лет они жили на даче рядом с ними в Лососно под Гродно... -- "Давайте, давайте мне скорее письмо, я припишу Никите, чтобы он пошел к ним познакомиться, Владимир Николаевич так будет рад!.." Он быстро чиркает на моем письме, и я бегу опустить его... Думаю, что мой ответ был важен -- пожалуй, до этого Любищевы не совсем были уверены, кем был отец Игоря Александровича, и кто же мы точно.

За день до отъезда из Москвы Никита успел зайти к Беклемишевым. Он вернулся полный рассказов про Кузнецкий мост, где тогда находилась приемная МВД, про Бутырку, где было свидание; про отца сказал, что тот выглядит неплохо, в посылках не нуждается, свидание шло в особом помещении, сидели через стол; вертухай, конечно, тут же рядом.

Уже после Нового Года Ольга Петровна предложила мне стать чтецом у двух слепых студентов Пединститута -- они оба были на историческом факультете, о них заботился особо Амусин -- платили они из своей особой скудной стипендии всего 200 рублей в месяц, работа же была страшно утомительная. Они приходили ко мне не менее пяти раз в неделю, и бывало, я им читала с 6-ти дня до полуночи, а во время экзаменов и много больше того -- ведь для них-то ночи не существовало!

Настя была сибирячкой, дочерью шофера на большом заводе; не знаю, когда она ослепла, кажется лет 6-ти. Лицо у нее было сплошь изрыто оспой, один глаз

зажмурен, а второй широко раскрыт и с громадным бельмом; она, конечно, страдала от своего убожества; ходить одна так и не научилась, и даже в моей маленькой комнате ей приходилось за руку подводить к столу. Зато ума палата: блестящая память, понимала все с лету и буквально всем интересовалась. Отец еще в детстве возил ее в Одессу к знаменитому Филатову, но и тот ничего не смог сделать; однако остаток зрения в открытом глазу еще оставался: когда гасло электричество, она сразу замечала, тогда как Костя и этого не мог.

Костя был здешний, ульяновский, его отец работал на Володарском заводе на том берегу Волги, имел там казенную квартиру, -- кроме Кости было еще пять человек детей -- младшему было два года. Про то, как он ослеп, стоит рассказать: мать его была женой младшего сына в большой крестьянской семье, все жили вместе, неделимые. Жены старших сыновей, золовки (почему-то всегда злые и в сказках, и в жизни), помыкали ею, держали ее в черном теле. Косте было года полтора, когда в конце июня разразилась гроза и на лестнице ветром выбило окно. Старшая золовка велела ей подобрать битое стекло и вымыть лестницу. "Ты хоть мальчонку-то возьми, а то как мне тут с ним" - "Ничего, - грубо ответила та, небось и с мальчонком справишься"... И пошла к себе наверх. Шура - Костина мать - принесла тряпки, швабры, ведро с водой и начала уборку, а Костя начал карабкаться вверх по лестнице, споткнулся и упал лицом вниз; в правой руке у него был зажат длинный осколок от разбитого окна - он упал на руку, и осколок вырезал ему правый глаз. Шура плакала, золовки кричали и упрекали ее, но потом успокоились. Наступил сентябрь, Шура пошла в огород собирать помидоры на соленье, у Кости был маленький складной стульчик, и она его посадила недалеко от себя, но вдруг из соседнего огорода выскочил пятилетний мальчик и принялся прыгать вокруг маленького Кости, пританцовывая и крича: "Калека, урод, безглазый !" все, что слышал дома от старших. Он подскочил к Косте, держа в руке острую палочку для подвязывания помидоров. Внезапно он бросился вперед с криком: "Вот, на тебе, на тебе!" -- и этой палочкой со всей силы выколол Косте здоровый глаз.

Когда Шура мне это рассказывала, она всегда плакала: как же это, хороший, здоровый мальчик и вот так за лето ослеп?! За что же это? Ответа не было. По праздникам Шура, возвращаясь домой из церкви, заходила в буфет, один, другой -- дома у них никто не пил, муж не позволял, ну, а когда одна в городе... Трудно было удержаться.

Чтение слепым продолжалось до 1954 г. - кроме, конечно, летних каникул. Удивительно ловко Настя записывала по Брайлю, а раз записав, все помнила наизусть. На третьем курсе она готовила курсовую работу на тему "Экономическая жизнь в Греции по произведениям Ксенофонта", "О Пунических войнах" и "Отступление десяти тысяч" -- так я и узнала основательно Ксенофонта, дважды прочитав все его произведения Насте вслух! На Настин доклад собралась полная аудитория, пришли, конечно, и Амусин, и Любищев -- бедная Настя так дрожала от волнения, что ей пришлось руками вцепиться в стол, чтобы начать доклад... Она, несомненно, могла бы стать талантливым историком, но... кто мог ей помочь дальше развиваться и работать? На вторую зиму, что слепые ко мне ходили, как-то Настя

мне пожаловалась, что у ней очень сильно болит голова и тошнота; я немедленно их отправила домой в общежитие с тем, чтобы Костя сразу вызвал Скорую помощь.

Ее увезли в больницу; той же ночью у нее лопнул глаз, который еще был открыт, и тоже закрылся. Настя была в отчаянии, хотела покончить самоубийством; я вызвала к себе Амусина, который страшно взволновался; пошла сама в общежитие к девочкам, с которыми она делила тесную комнату. Костя, конечно, следил за ней неотступно. Он был не очень-то замысловатым, Костя, но никогда не зная света и солнца, не был ни озлоблен, ни надорван и судьбу свою нес легче. Он ходил с легкой светлой палкой, никогда не опуская ее на землю, -- нес перед собой, как антенну. Ни разу в жизни он не споткнулся, не задел кого-нибудь на улице - казалось, он ходит лучше зрячих. Я читала Насте много больше, нежели ему, и тогда он шел во двор и колол мне дрова, разбивая аккуратно, с точностью до миллиметра, бревно на четыре части; или чинил мне электрическую плиту, и отлично умел чинить. Со временем я начала им давать во время чтения паузы минут на пятнадцать-двадцать, чтобы они отдохнули, и читала им что-нибудь интересное. Что им нравилось? - Ну, Двенадцать стульев совсем не нравились, не смешили их, та эпоха им была просто незнакома. Еще хуже был провал с пьесами Козьмы Пруткова -- язык непонятный. Зато неожиданно веселые новеллы Декамерона их искренне потешали; Костя хохотал, хлопал себя по ляжкам, захлебывался -- некоторые новеллы я им читала по два раза; но лучше всего, по-настоящему, нравились им старинные французские сказки, книжка сказок в издании *Bibliothique Rose* случайно попала ко мне от Екатерины Николаевны, и я им читала, переводя прямо с текста; они оба замирали, расспрашивали, обсуждали: а это разве возможно, а каков замок - большой, каменный, а почему принцесса сразу не поняла, что он ее любит, что он добрый?! Лучше всех нравилась сказка про Белую Кошечку (*La Chatte blanche*) -- верно, они ее на всю жизнь наизусть запомнили. Не раз приходили они ко мне в воскресенье днем послушать радио, особенно если шла вечная постановка *Стакан Воды Скриба* из Малого Театра, запись, которой уже тогда было много лет.

Они были ужасно недоверчивы, все прислушивались -- не скоро я удостоилась их полного доверия, настолько даже, что Настя стала оставлять зимой у меня в сенях пакеты с провизией из Сибири, от родителей... Они оба понемногу курили, что для слепых редко - они ведь лишены всего обряда закуривания, не видят даже маленького огонька спички. Костя был разговорчивее и садясь, ежедневно говорил мне: "Вот я вам скажу, Нина Алексеевна, какой я сон сегодня ночью видел! Просто удивительный сон!"... Как знать, что это были за образы? -- Никак он не мог толково рассказать про эти сны.

По окончании Пединститута Костя и Настя поженились; сперва они получили назначение в большое село Ульяновской области, но вскоре их перевели назад в город, и они поселились вместе с Костиной семьей -- без присмотра и ухода они не могли провести и дня! Они мне долгие годы посылали милые письма, оба научились писать крупными печатными буквами, преподавали Древнюю историю в местной средней школе Володарского района -- конечно, на этих уроках всегда присутствовали воспитательницы, а то весь класс играл в крестики или в гуся, а отвечали урок на "отлично" -- два-три ученика готовили уроки поочередно...

У Насти с Костей родилось четыре сына, все с отличным, нормальным зрением -- они все жили очень дружно.

Весной 1952 я сама себе устроила "замену" в Городском Саду имени Свердлова, и целое лето там проработала кассиром на аттракционах; тут были Гигантские шаги, комната смеха (кривые зеркала), бильярды и самое главное, тир; я приходила к шести часам вечера, получала в конторе от старшей кассирши книжку с билетами и садилась в сторожевую будку с маленьким окошечком. Домой возвращалась после часа ночи, после того, как приедет за выручкой инкассатор, окруженный вооруженной стражей. До чего было жутко одной бежать домой! На гигантской площади Ленина еще было ничего - в двух концах ее стояли конные милиционеры, но когда свернешь с площади на пустую и безмолвную улицу - сердце сразу обмирало. Идти было минут десять, и вдруг -- шаги за спиной, трудно было не побежать... Но я не позволяла себе и шла размеренно. Кроме ключа и платка у меня с собой никогда ничего не было, но ведь шпана этого не знала. Хуже всего было в нашем темном тупике, который освещался только фонарем во дворе фабрики КИМ в бывшей Ильинской церкви -- открыть калитку, а вдруг там поджидают... И тут с громким приветствием мне вскакивал на ногу мой друг Васька, он часто меня ждал у сеней, и мы вместе входили с ним в мою комнату -- скорей, скорей замок. Васька кидается к своей чашке, где для него всегда свежая вода и быстро, мелко лакает.

### **Свердловский Парк Культуры**

Таково было официальное название этого парка, старинного, шедшего уступами вниз к Волге, со скамейками, беседками, валунами и пресловутой танцплощадкой, где происходили внезапные и жестокие побоища между курсантами Первого Танкового и будущими летчиками из Авиационной школы.

Директором этого парка стал бывший директор Кукольного театра; я его немного знала -- в этом театре оформлением ведала жена доктора Провальского, и я иногда к ней в театр заходила -- в парке, перед самым открытием, заболела кассирша, и он через Провальскую предложил мне поработать, пока та не выйдет из больницы.

Открытие намечено было на 1-ое мая, а до этого все служащие плюс сторожа и сторожихи должны были приходиться по утрам расчищать дорожки и беседки -- что ж, я тоже пошла, и оказалось, что это очень тяжелая физическая работа: вырывать сорняки, выгребать из полумерзлой земли камни на дорожках. Я пыталась делать как все; заложив руки в брюки, за мной присматривал молодой и весьма занозистый ЗАМ, т.е. заместитель директора. Я сразу поняла, что настоящий хозяин -- он, директора менялись, а он сидел крепко, и жена его тоже. На третье утро у меня случился резкий сердечный припадок -- приходилось все утро нагибаться, тащить корзины с торфом, переставлять опрокинутые скамейки... ЗАМ посмотрел на меня, вздохнул и сказал: "Уходите лучше домой, сами понимаете, это не по вам работа, приходите тридцатого днем", - и я с трудом доплелась до дома глотать валидол. Это было очень трудное лето: Никита ушел с завода после 1-го января и целыми днями

зубрил к выпускным экзаменам; он твердо решил уехать в Москву и там пытаться поступить... на исторический факультет. Я всячески его убеждала, что лучше куда угодно, только не на исторический -его туда никто не примет... Утром я готовила ему какой-то обед, а потом к пяти шла в Парк; состояние у меня было совсем неважное, я курила все больше и ела все меньше, страх остаться одной меня томил... А в Парке все уж было готово, и развешивались на громадных полотнах лозунги - я пришла к открытию 1-го мая пораньше, и в конторе пропагандистка, отставляя пальчики, угодливо показывала директору избранные ею надписи: "Вот тут, справа от входа, у нас будут слова товарища Кагановича, а слева изречение товарища Берия... Вы, надеюсь, одобряете? Это уж окончательная редакция?!" Директор одобрительно мычал, и дюжие молодцы несли приколачивать полотна с лозунгами вокруг входа. Я посмеялась над этими тщетными усилиями любви; с утра температура была +1°, а к двенадцати уже стало --2°, пошел снежок, а дальше и просто повалил густой снег... Однако открытие -- значит открытие, все пошли по своим местам, сторожа, уборщицы, кассирши встали у входа; вдоль главной аллеи по обе стороны росли могучие кусты сирени; сразу открыли торговлю: четыре киоска с водкой и закуской, ресторан в середине Парка начал продажу чудного Мелехесского пива, и я, раба Божия, получив в конторе книжку с отрывными билетами, забралась в свою будку около самого тиран... застыла там -- холод в будке был непереносимый, и закуталась я, конечно, недостаточно. Подошел ко мне заведующий ружьями и патронами для стрельбы -- оказался угрюмый мужчина, впрочем, мы со временем с ним подружились; прибежала от Гигантских шагов прелестная Валя, женщина лет 30-ти, изящная, белокурая, с детской улыбкой, синими глазами, всегда милая ко мне и приветливая; зашел ко мне и сам ЗАМ: все ли в порядке?? - Да, да, как будто. Но ни водка, ни даже пиво (пиво в Ульяновске было совсем редкостью) не прельстили жителей Ульяновска и кроме двух-трех мальчишек, перелезших через забор, никто в парк на открытие не пришел...

Парк снова открыли через неделю, и тут не только стало теплее, а сразу наступила ужасная жара, и я в своей будке задыхалась, растворяла дверь -- что было совсем непростительно, ведь любой юный хулиган (а они около злосчастных "аттракционов" толкались вплоть до позднего вечера) мог подбежать и выхватить у меня деньги. Дней через пять-шесть, в воскресенье, когда Парк был открыт целый день, часов около 11-ти утра ко мне подошел ЗАМ и положил через окошко на мою тетрадь с билетами какие-то бумажки.

Я совсем не поняла, что это, но взяв одну в руки, увидела, что это оторванные билеты, уже проданные... Испугавшись, что я делаю что-то не так, я его спросила: "Это откуда же билеты? Они не мои -- вот, посмотрите: у меня все в порядке". Он наклонился к окошечку и тихонько стал говорить: "Дело такое, у нас в кассе дефицит, вот вы, как подойдут, делайте вид, что отрываете эти билеты от корешка... ну, а деньги потом мне отдадите. Не волнуйтесь -- я рядом постою, я ведь всех в лицо знаю"... После долгого молчания я, наконец, поняла, в чем дело, и ответила также тихо: "Вы, верно, понимаете, что это деньги казенные, и что за это можно десять лет получить?..." Он нахмурился, пожал плечами и... спокойно стал поодаль. У меня не хватило воли устроить ему скандал, или просто эти бумажечки вторично не продавать...

Однако никогда больше он ко мне с такими просьбами не обращался -- и без меня было достаточно своих верных работников! Я приходила домой без сил, почти ничего не евши целый день, выпивала несколько чашек чая и... курила. А Никита уж спал, да у него в конце мая начались экзамены. к Любищевым я в это время заходила редко, но кое-что им рассказывала про Парк так называемой Культуры, где на моих глазах погибло немало молодежи... А как они гибли? Да ужасно просто: погуляв или даже потанцевав на площадке, шли к буфетам -- а там водка или пиво... Пиво в жару, пожалуй, еще хуже... Так закладывали раз, другой и... сразу, из-за слова, из-за любой глупости начинались дикие драки - с криком, с глухим битьем. Милиция не дремала -- всех в холодную, и протокольчик. Перед закрытием Парка всех в закрытой машине отвозили из холодной в милицию -- и каждый получал два Года "принудработ". Иногда тут были совсем юные, еще неопытные по питьевому делу; так за лето и набиралось немало здоровых работников на лесоповал. Это я быстро поняла: на первом же производственном собрании, после всяких казенных и благополучных высказываний, я встала и попросила у директора слова -- он повел бровями от удивления; ведь я была временным работником, в штате не числилась... Однако вежливо сказал: "Пожалуйста, что хотите сказать?" И тут я услышала свой голос, который звонко спрашивал: "Нельзя ли закрыть в Парке торговлю водкой? Из-за этого молодежь дуреет, идут драки, ну, и вообще... лучше, чтобы пьяных было поменьше, особенно в выходные... ведь на них жалко смотреть". Старшая кассирша, сидевшая рядом со мной, тянула меня за руку и шепотом твердила мне: "Садись, дура, садись, с ума сошла. Да замолчи же, вот дура, Господи!" Я, как начала, столь же неожиданно для себя умолкла, сев на скамейку (дело было в саду)... А директор, мягко и вежливо посмеиваясь, отвечал: "Буфеты держит не Парк, а гостиница Россия, вот к директору гостиницы и обратитесь, а я вполне с вами согласен и сочувствую".

За моей будкой, под деревьями, ставили два небольших биллиарда; на них играли больше всего ученики старших классов -- многих из них я знала, и всякий неудачный удар сопровождался отборной бранью. Ни одного слова эти юноши не могли произнести без этих кратких и выразительных слов; правда, и вообще-то на улицах города царили те же слова: что и говорить, сильный русский язык! Но ведь эти ребята учились в школе, читали что-то... В 1953-54 г. "матерщина" звучала все больше и чаще - или это я прежде не замечала?

Несколько слов про Валю. У нее, оказалось, было два сына, первый - лет одиннадцати, от мужа, погибшего на войне, второй - всего трех лет, и ей было с ним очень трудно: оставлять его было не с кем, а из одиннадцатилетнего трудно сделать няньку. Как-то посреди лета она, очень озабоченная, подошла к моему окошку (я продавала билеты и на Гигантские шаги, у которых она стояла) и попросила, не могу ли я попасть младшего мальчика часа два-три? Увы, мне это было невозможно, вся касса была в моих руках, и оставить ей деньги я не имела права; но я, подумав, предложила, что сбегаю в контору-- может быть кто из сторожих и согласится? Закрела будку, деньги взяла в свою сумку и побежала в контору... А там как раз собралось несколько сторожих--тетя Маша, тетя Варя, еще кто-то; сидели и судачили с главной кассиршей парка, молодой особой, очень неглупой, деловой и



вполне приятной. Я спросила, не может ли кто-нибудь присмотреть за Валиным мальчиком? Воцарилось молчание, столь долгое, что я даже подумала, что меня не поняли, и повторила, что... но тут тетя Маша, женщина всеми уважаемая, шеф всех сторожих, работавшая в Парке годами, о\*- словом, местный авторитет -- закричала: "Ты что ж думаешь, мы этой проститутке мальчонка пасти будем? -- Тьфу! Что придумала! И как язык-то ворочается?!" Тут, однако, и я взорвалась: "Почему вы Валю так называете? Она честно работает, всегда аккуратная, вежливая -- как вы смеете про нее говорить "проститутка"! Как вам не стыдно?!" Тут поднялся общий гомон, и все Валю ругали... Я молчала, наконец все же возразила, сказав то, что обычно говорят: "Ну, мальчик-то ведь тут не причем!"--"Ох, да что же это! -- крикнула тетя Маша,-- да ведь он с красной чертой, не понимаешь, что ли?" Я не только не понимала, но даже растерялась -- что это, болезнь такая -- "красная черта"? И где же она у мальчика - на лице, на теле? Наконец, спросила: "Да где же она, эта черта? Это что, заразное, что ли?" Последовал общий взрыв хохота, и тетя Маша, уж совсем давясь, выкрикивала: "Господи! Да что же это за женщина? Где черта?! - Да на метрике, небось!" Я была потрясена: "И что же, большая черта?" - "Ясно, большая, - уж совсем торжествуя, объяснила тетя Маша, -- прямо с одного угла в другой, насквозь, да в палец шириной!"

Такая метрика "с красной чертой" поразила мое воображение: это казалось непостижимым... Я стала всюду осторожно расспрашивать, да да все было так, и вплоть до последних лет властвования Хрущева обязательно выдавалась такая метрика с красной чертой из угла в угол для внебрачных детей! Словом, в Свердловском Саду можно было многое узнать и понять, понять, почему люди такие жестокие... Действительно, было от чего. Тетя Маша была не злее других, только язык у нее был лихо подвешен, и на все у нее был ответ; да и в тот день именно она пошла "пасти" Валиного мальчика.

В Парке Культуры бывали на открытой сцене концерты, плясали "народные ансамбли", иные вечера народ валил валом -- ведь ничего другого летом не было -- а зимой был открыт театр, где ставили пьесы Островского и Горького, но там обычно было мало зрителей -- уж очень нудно играли.

За это лето, наблюдая жизнь из "будки", я узнала одного мальчика - ему на вид было лет четырнадцать, но он клялся, что ему уже шестнадцать... Звали его Богдан, и он появился перед моим окошечком еще в день открытия -- заглянул и сказал: "Тетенька, дайте билетик на стрельбу". С этого началось, а потом он стал появляться все чаще, иногда и поздно ночью. "Сколько тебе лет? -- корила я его. Ведь ты в этот час один не имеешь права быть в Парке!" Но он клялся, что ему шестнадцать, а главное, всегда просил покурить.

Нет, я ему ни разу не дала папиросы, а изредка все же "билетик пострелять" давала, и честно клала в кассу свой рубль. Он иногда пытался меня расспрашивать, где я живу, еще что-то; но я отвечала уклончиво; как-то он ко мне пристал, и я ему сказала: "Больно ты любопытный -- если бы хорошо жила, не сидела бы здесь до часу ночи - ты думаешь, это легко? Да и домой идти страшно". Он одно время исчез, я думала, его выгнали из Парка, но дней через десять вдруг как из-под земли вырос

перед моим окошечком: "А вот и я". Я даже обрадовалась, увидев его уже знакомое, сильно азиатское лицо... Понемногу я стала замечать, что, когда я ночью выходила из Парка, за моей спиной раздавался особый, условный посвист, заворачивала на улицу Труда -- опять свист, так иногда до нашего тупика. Становилось невыносимо страшно... В черной безмолвной тишине раскаленного города этот свист меня с ума сводил.

Парк Свердлова закрылся 25-го сентября, а в конце августа были ограблены четыре киоска, торговавшие водкой и закуской на главной аллее; на пятом киоске милиция поймала взломщиков -- это были знакомые мне юные игроки на бильярде, а среди них и мой дружок Богдан. Подробности этого дела я, конечно, узнала много позже. Больше всех пострадал Богдан, он был самый молодой, и его допрашивали первым. Что мог сделать такой юный мальчик? -- Ясно, он назвал всех участников... Их всех, человек тридцать, судил трибунал малолетних, процесс длился долго, и всех приговорили к двум годам исправительной колонии. Они долгое время сидели вместе в одной громадной комнате... Что там творилось... ужасно!

Про Богдана эти молодчики быстро узнали, что он раскололся, и в отместку выжгли ему папиросами вечное пятно на лбу, так, чтобы уж куда бы в лагерь не попал, все бы сразу знали, что он доносчик. Сажали его на раскаленную печку, которая отапливала это громадное помещение, да и всякие другие виды мучения, обычные в преступной среде применяли... (Его мать действительно была проституткой, и каждую ночь Богдан принужден был гулять на улице до 3-х, 4-х часов утра...) Наконец, уже осенью 1953 г. всю эту компанию повезли на вокзал для посадки в теплушку, и далее, по этапу -- но... внезапно на платформе появился комендант города Ульяновска, всех(выстроил в ряд и торжественно прочел им текст "Ворошиловской Амнистии", поздравил их с волей и милостью...

Они трижды прокричали "Ура!" и вернулись по домам. Родители встретили их без особой радости, а некоторых отцы и просто не пустили в дом.

Много позже я встретила Богдана на улице -- он был бледный, угрюмый, вырос за это время; отвечал нехотя, односложно; потом вдруг сказал: "А помните Парк Свердловский? -- и помолчав, -- ведь свистел-то тогда я, у нас уговор был, чтобы вас не трогать и не пугать". Он криво ухмыльнулся и не попрощавшись, пошел дальше...

В июле 1952 г., после выпускного акта Вечерней школы, Никита уехал ночным поездом в Москву, прихватив с собой тощий чемоданчик. Сказал, что в Ульяновске, постылом и ненавистном, ни за что не останется; что ехать учиться в Казань, где у нас были близкие друзья, тоже не хочет, одним словом - "в Москву, в Москву!", и это -- не теряя минуты, чтобы в случае неудачи еще попасть учиться в какой-либо другой город, хотя бы в ту же Казань.

## Поездка в Москву для свидания с Игорем Александровичем

Никита с большим трудом устроил свою судьбу в Москве. Сперва он жил у Штранге, где у него был диван в столовой и утром чашка кофе с куском хлеба -- весь день он блуждал по городу и старался подготовить себе поступление в какой-нибудь ВУЗ -- экзамены начинались в августе. Как-то утром он увидел, что остается тридцать копеек и внезапно решившись, пошел в Издательство Иностранной Литературы и спросил, нельзя ли получить переводы на французский или с французского? Так вышло, что он сумел пробиться к самому заведующему французской редакцией Кристаловскому; тот понял, что Никита прекрасно знает французский и велел ему прийти вечером, а вечером дал небольшой перевод.

Вскоре последовал и второй заказ. Никита, бегая по всем учебным заведениям, ночью делал переводы и так прожил до экзаменов в августе. Но получилось все, как и можно было ожидать: его всюду ждал отказ. -- "Вы сами понимаете, молодой человек, ввиду положения вашего отца -- мы вас принять не можем" ! В последний день приема бумаг он с отчаяния пошел в Институт Иностранных языков на Маросейке и там, опять получив отказ от директора Пивоваровой, учинил дикий скандал, кричал, что она не имеет права, бил кулаками по столу и встав, заявил, что идет подавать на нее жалобу в ЦК. И вдруг она согласилась, приняла от Никиты бумаги и сказала ему: "Ну, подожди, щенок, ты уж больно прыткий, а вот как будет распределение на работу после окончания -- я тебе такое дам направление, куда Макар и телят не гонял!!"

Так Никита попал на Французское отделение студентом, что было полной нелепицей -- ясно, что он знал язык несравненно лучше всех тогдашних преподавателей. Сперва он поселился за городом у сварливой родственницы Беклемишевых -- вставал в пять утра, почти ничего целый день не ел, и затемно вернувшись, валился спать. Наконец он не выдержал и пошел в Переселенческий отдел, к Пронину (я про него мельком уж писала -- он был приятнее и человечнее нежели его провинциальные подчиненные, вроде Веры Григорьевны Золиновой), и тот быстро устроил Никиту в общежитие Института, в Петроверигском переулке. Началась нормальная жизнь студента, живущего на скудную стипендию. Таких, как Никита, было немало, однако большинство студентов хоть малую толику все же получали ежемесячно из дому.

В начале октября 1952 г. Никита мне написал, чтобы я все сделала, чтобы приехать в Москву и добиться свидания с Игорем Александровичем: после приговора я имела право на такое свидание, а в свое время его не получила. Вскоре пришло письмо от Владимира Николаевича Беклемишева; он писал, что если бы я надумала приехать в Москву, то их дом -- мой дом, могу у них прожить сколько понадобится. Письмо было самое дружеское; я пошла к Любичевым его показать и... неожиданно, вдруг решила, что поеду. Такая поездка была явлением, казалось бы, простым, но меня это тогда потрясло, что вот я... и поеду в Москву! Провинциальная рутина и меня затянула, и горизонт мой ограничивался хождением к Любичевым, чтением слепым и сидением в моей мрачной хибарке за Ильинским Собором...

Билет в общий вагон мне купили Любищевы; я, конечно, предупредила Беклемишевых о своем приезде, и вот вечером, часов в одиннадцать, очутилась в вагоне, а платформа вокзала была буквально запружена ульяновскими барышнями, провожавшими целый выпуск молодых офицеров из Первого Танкового училища: слезы, песни, цветы, бокалы шампанского. Так случилось, что полковник, сопровождающий весь этот выпуск до места первой службы -- на чехословацкую границу, в местечко Чоп, сидел напротив меня, и все эти юные курсанты, только сегодня днем произведенные в первый чин, прибежали к нему из соседнего вагона, дежурные что-то ему докладывали -- словом, этот отъезд оказался веселым. Кругом меня в вагоне все были возбужденные молодые лица, поразительно вежливый полковник, который стал меня занимать разговором почти салонного типа... Я уехала в Москву на свидание в тюрьме под крики: "Ура, ура! -- Пишите!" У всех моих спутников в вагоне были умильные и казалось, славные лица. "Эх, полковник, а вы и не знаете, зачем я еду..." - "Зачем?" - "Да вот сын студент, еду его навестить..."--"А, это хорошо, что студент; ах, чудесная у нас молодежь!"

Так я еду незаметно и даже в отличном расположении духа в Москву; Никита меня встречает на Казанском вокзале. Огромный, украшенный фресками Лансере зал набит, как улей; всюду люди, авоськи, солдатские лари, одеяла в ремнях -- гомон, шум, крики, милиционеры снуют между скамьями, кого-то у меня на глазах тащат. Толстая баба в вязаном платке на голове и в ватнике, надрываясь, орет, что вот этот сейчас ее обокрал; дети спят повсюду, на руках, на лавках... Никита говорит: "Это всегда здесь так, идем, идем, нам еще далеко до Сокола"; и правда, путь в метро далекий, но вот и Сокол, а тут за углом Первая Песчаная, дом 3, квартира 100; дом громадный, с большим внутренним двором; внизу парадной сидит суровая вахтерша; поднимаемся на лифте на пятый этаж, и дверь нам открывает сам Владимир Николаевич; видно, он уже нас ждет...

Он громадного роста, седой, статный, красивое лицо, манеры и говор вельможи -- неужели такие люди еще остались?! Он держит адресованную мне краткую приветственную речь, потом, помолчав, добавляет со смешком: "Предупреждаю: пока вы у нас, меня во всем слушаться, я ведь для вас старший в роде, как вы знаете и как подтверждает сам Ключевский". Выходит его жена, милейшая Нина Петровна (про нее особо знаю от Любищева, он ее просто боготворит, говорит, "такой второй женщины на свете нет"). А в столовой ждут сыновья Беклемишева Тин и Митя -- старшему двадцать пять лет, младшему года двадцать два. Они оба еще много выше, нежели отец, и я внезапно конфужусь, проклиная свой маленький рост. Садимся ужинать за круглый стол в большой столовой -- все чинно, но не натянуто, все вкусно, все отлично приготовлено и красиво подано домработницей, словом -- "все, как у людей"... Тут у них еще живет дальняя родственница, Александра Николаевна Любимова -- старая девица, когда-то близко знавшая всех Кривошеиных, из них особенно любила и знала она Ирину, старшую вдовую сестру Игоря Александровича. (Ирина давно скончалась, я ее не знала, а видно, она была и умная, и добрая. Но... когда-нибудь про Ирину особо).

В свободное время я гуляла по Москве, по улице Горького, по Арбату, да и по Ленинградскому проспекту тоже. И вокруг дома на Песчаной. После грязных улиц и жалких витрин Ульяновска Москва казалась каким-то высшим достижением шика и prosperity. Я любовалась бесконечными сортами хлеба у Филиппова, входила внутрь -- нанюхаться чудным ароматом хорошо выпеченного теста, подробно изучала витрину небольшого продуктового магазина неподалеку от дома Беклемишевых -- а там была всякая всячина: семга, икра, судаки, фрукты, вина и даже несколько бутылок лучшего оливкового масла! Я была потрясена -- значит, это только в Ульяновске ничего нет? Контраст был ошеломляющий.

Поразительная была атмосфера в этом доме -- главным образом исходила она от самого Владимира Николаевича -- а он вполне мог внушить некий трепет; его беседа за ранним ужином велась будто и в обыденном тоне -- однако его природная и незаметная вежливость прекрасно воспитанного человека, его полная осведомленность во всех областях жизни, будь то биология, литература или живопись -- делали очевидным, что говорит он не только иначе, чем все остальные, сидевшие за столом, а в одном ему присущем высшем регистре. При том, что знаменит он был работами по борьбе с малярией, он был из тех русских образованных бар-либералов, которые, казалось, все читали, всем интересовались, про любой предмет могли говорить авторитетно и увлекательно -- думаю, век их кончился уж лет пятнадцать тому назад, эдак в 1965-70 гг.

В Беклемишевском доме все протекало чинно, без ухабов -- казалось, ничто из окружающего в их обиход не проникало; а ведь они все четверо по мере сил и таланта работали усердно и с увлечением -- и в том мире, вне квартиры, то одному, то другому приходилось преодолевать серьезные препятствия.

Конечно, можно сказать, что талант В.Н. все же был оценен: был он членом Академии Наук, имел ордена -- два ордена Ленина, еще какие-то советские, два высоких ордена персидских; их мне показывала Нина Петровна и объясняла, когда и за что Владимир Николаевич их получил.

Персидские ордена были тоже связаны с борьбой против малярии; в 1942 г. Владимир Николаевич был командирован Советским правительством в Иран (Персию тогда) с научной задачей и имел при себе некую "буллу", дававшую ему диктаторские права -- т.е. он мог входить в любой дом, в мечети, в бани, в частные поместья -- и там искать очаги комаров; ему была дана стража, конвой -- не то черкесы, не то казаки.

Все, кто бывал у Беклемишевых, -- а это все были ученые (их дом был кооперативный -- Дом Ученых, первый кооперативный дом вообще в Москве, только что отстроенный архитектором В. Афанасьевым), и все их соседи собирали "чагу"; это было всеобщее увлечение: наросты на осинах и березах будто бы излечивали рак. Даже Беклемишев искал чагу вокруг своей дачи в лесу. Все сушили чагу, делали опыты, как ее заваривать, сколько пить...

Погода стояла неплохая, сухая, не очень холодная. Как-то я заметила небольшой зеленый переулочек, вроде аллеи, там стояли лари и торговали всякой ерундой. Я решила разориться -- до того у меня было твердое решение ничего себе в Москве не покупать -- к чему мне было? -- Но тут купила ваксу, черную и коричневую, шнурки для ботинок и кажется, несколько мотков штопки; прошла еще подальше, и внезапно зеленая аллея открылась, тут была небольшая площадь, и с левой руки выросла передо мной чудесная ярко-белая церковь; было около шести вечера, шла вечерня; на ступеньках сидели нищие.

Я была поражена: так близко от громадных домов, магазинов, троллейбусов -- и такая очаровательная церковь, а у Беклемишевых мне никто про нее не рассказал...

Я вошла в церковь, все внутри было в отличном виде, стиль постройки, лепки алтаря -- все было позднего рококо, золото так и сияло на ярко-синем фоне; молящихся было довольно много. Я побыла почти до конца вечерни, но боясь опоздать к ужину, вышла; старая нищенка молча протянула руку, я ей положила какую-то монету, она внезапно схватила меня за рукав и как-то очень быстро проговорила: "А ты не тужи, не бойся -- вернется, вот увидишь, сбудется..." Конечно, в эти годы это чуть ли не безошибочно можно было пожелать почти любой женщине, но я испугалась внезапности и резкости ее слов и скорей побежала на Песчаную... Я потом еще несколько раз заходила в эту церковь; у Беклемишевых я узнала, что это "Багратионовская церковь". Ее собирались в шестидесятые годы, при Хрущеве, отдать на слом, но ее отстояли.

На Кузнецкий Мост мы почему-то пошли не сразу, а через день после моего приезда; особенного впечатления эта Приемная в памяти не оставила. Сперва ждали в обширном помещении, где были такие же люди, как в Ульяновске. Какие-то старушки в бесцветно-скудной одежде, мужчина средних лет сидел неподвижно, будто больной... Мы с Никитой мало себя проявляли, как и прочие "чающие". Но вот наш черед; в сравнительно небольшом кабинете нас принял очередной полковник -- сперва не хотел обещать свидания, все повторял: "У вас нет вызова", -- Никита убеждал полковника, что свидание после приговора является законным, и что в свое время я его не получила. Это обсуждение длилось минут десять -- полковник куда-то уходил внутрь здания, но вернувшись, твердил все то же. Наконец он умолк, давая понять, что пора уходить. Но теперь я тоже подала голос и не торопясь, объяснила полковнику, что живу в Ульяновске, что специально для свидания с мужем приехала в Москву, а это очень дорого, денег нет, и пришлось взять займы, и что же? Почему он мне отказывает? Полковник взял мое прошение и мрачно заявил: "Ждите, ответ будет не раньше, чем через неделю, ничего не обещаю".

Ответ пришел через десять дней, и там было сказано: "Свидание завтра в Бутырской тюрьме, явиться ровно к 10-ти часам утра". Перед выездом из дому глотаю чашку горячего чая, Нина Петровна сует мне в сумочку коробку сахара, пропитанного валидолом, мы с Никитой едем в метро. Станция Новослободская...

Входим в старинное здание тюрьмы, просмотр бумаг -- проходите. Направо от входа большая комната -- светлая, громадное окно с тяжелой чугунной решеткой; вдоль стены, под окном и до входной двери -- скамейки -- тут уже много народа, почти полно, но мы находим себе место под окном. В глубине помещения, слева, установлены решетки, через которые происходят свидания, -- а в правой стене, в глубине -- оконце, из него дежурный выкликает фамилии; ему и надо отдать вызов на свидание. Из окошка голос говорит: "Ждите". Сажусь опять рядом с Никитой.

Через полчаса торопливо входит молодая женщина, с ней девочка лет пяти -- они обе вклиниваются рядом с нами на скамейку; молодая дама, очень приятная на вид, идет к дальнему окошку и дает там какую-то бумагу, ведет переговоры с вертухаем и опять садится рядом со мной; но вот справа от длинной скамейки, на которой мы все сидим, внезапно открывается малюсенькое оконце -- я его раньше просто не заметила; внутри кто-то стучит пальцем по деревянной раме и вызывает кого-то; молодая дама встает, вынимает из сумки паспорт и делает шаг по направлению к оконцу -- но внезапно девочка прыжком следует за матерью и дико, нелепо, громко кричит, захлебываясь от страха и волнения и складывая молитвенно руки: "Мама, ма-а-а-ма! Не давай им паспорта, не давай, не давай, они не отдадут, мама, мама! Не давай, не давай!"

Бедная мама, бедные мы! Мать старается ее успокоить, говорит не очень громко, но так, чтобы все слышали, ведь ее ответ и служащие слышат: "Нет, нет, Наташенька, не бойся, ничего не будет, паспорт отдадут, вот ты сама увидишь, не бойся, не бойся".

Она усаживает девочку назад на скамейку, подходит к тому малюсенькому окошечку, куда с трудом проходит рука, просовывает паспорт. Оттуда голос тихо произносит: "Положите сто рублей". Сто рублей у ней зажаты в руке, и она их продвигает внутрь оконца.

Значит есть заключенные, имеющие право получать из дому деньги? Этого я тогда не знала и была поражена.

Время идет, скоро двенадцать, кое-кого из сидящих начинают вызывать на свидание к решетке, стараюсь не смотреть в ту сторону -- что-то вроде зоологического сада: "Рук за решетку не просовывать, зверям в клетку ничего съедобного не давать"...

Пятилетняя Наташенька притулилась к матери и подремывает -- ей, видно, все ужасно надоело, скучно, хочется домой; она вдруг встает и неожиданно выступив на середину комнаты, потягивается и внятно произносит: "А хотите, я вам скажу стихи?" Все молчат, легкие улыбки и... Наташенька мило, ни капли не стесняясь, читает какие-то детские стихи, не то про котят, не то про медвежат. Надо сказать, она отлично, по-детски и без всякого кривляния читает стихи, и когда ей все чуть-чуть потихоньку аплодируют, изображает маленький реверанс. Она улыбается, ей весело, и объявляет всем: "Сейчас я вам станцую танец!" -- и начинает танцевать --

наверно, ее в садике учили. У ней очень хорошо получается. Общее умиление, какая милая девочка, и как она у всех на минутку сумела отогнать черные мысли...

Танец кончается, но девочка все стоит посередине комнаты, и вот она принимает позу: изящно отставляет одну ногу назад, поднимает руку и показывая пальцем на то малое окошко, особым каким-то шаманским говорком протяжно выкрикивает: "А в этом ящике живет мой папа! Там его квартирка! Это мой папа живет в этом ящике!" Мать вскочила, лицо белое, сажает девочку назад на скамейку -- воцаряется тишина...

Свидания продолжаются уже второй час, скоро конец приема... а нас не вызывают; молодая дама с девочкой тоже уходят, дама мне слегка кивает головой на прощание.

Иногда из сеней проходят по коридору военные, двери щелкают, закрываясь, и они уходят внутрь здания, позвякивая ключами; мы с Никитой сидим, не двигаясь, как в злой сказке... Но ведь ноябрь, день короткий, начинает смеркаться, по приемной ложатся легкие тени, уж почти пять часов дня. Я вскакиваю, быстро подхожу к окну в дальнем углу, стучу -- дежурный нехотя открывает: "Послушайте, тут какое-то недоразумение, у меня на вызове сказано -- быть точно в десять утра, вот уж семь часов, как мы ждем, узнайте, в чем дело. Скоро начнут закрывать -- что же мне делать?" Он не сразу отвечает: "Раз назначено свидание - значит, будет". "Прошу вас справиться, узнайте, вам начальство скажет, в чем дело" Он говорит: "Сидите и ждите". Еще проходит время, уж седьмой час, зажигают на потолке скудные лампы, все чаще из коридора доносится звон ключей - Хлоп! Дверь закрылась, звон медленно и гармонично уходит далеко, внутрь Бутырки...

Становится страшно -- Что это? Капкан? Да кому он нужен? Но ведь уже пора домой - верно, Беклемишевы с ума сходят от волнения; встать и просто самим пойти к выходу? -- Но там все закрыто...

Из окошка доносится голос: "Подойдите к окну, гражданка", -- это я, никакой другой гражданки в приемной давно уже нет. Он мне говорит: "Да, тут чего-то напутали, через полчаса свидание будет". Что же дальше? Еще минут десять, из коридора входит офицер: "Это вы Кривошеина?" - "Да, да". - "Идемте со мной".

Он нас выводит в сени и оттуда в тот таинственный коридор -щелк, дверь закрылась, потом открывает дверь направо в коридоре, зажигает свет. "Входите", -- мы с Никитой входим в совершенно пустую обширную комнату, даже ни одного стула нет. Офицер (очень молодой и аккуратненький) говорит: "Какие-либо вопросы будут?" - "Да, отвечаю, - скажите, здесь есть поблизости уборная?" Он верно ожидал, что я стану требовать, возмущаться -- столь тривиальный и верно, необычный для него вопрос его смутил, но он сразу спохватывается: "Вот здесь, в глубине". Он ждет меня, Никиту. -- "Вас позовут, еще минут десять..." Козыряет и уходит назад в коридор - щелк! Дверь за ним закрылась; смотрю на часы, уж без четверти семь, тихо, ничего не слышать -- мы с Никитой остаемся вдвоем, запертые внутри тюрьмы, в жутко холодной комнате. Меня сразу берет озноб; хожу, чтобы



согреться, из угла в угол, время тянется невозможно. Мы молчим. Еще проходит двадцать минут -- дверь открывается, какой-то дежурный говорит: "Идите на свидание, ваш муж прибыл", -- и мы идем по коридору в помещение для свиданий. Длинный узкий стол, стулья по две стороны стола. "Садитесь, руки держите на столе, никаких рукопожатий, ничего не передавать". Через минуту входит Игорь Александрович в сопровождении стражника и садится против нас по ту сторону стола, стражник садится неподалеку у стены на табуретке...

Что сейчас сказать про это единственное за пять лет свидание? Оно прошло уныло, в состоянии полной растерянности всех троих; оно принесло с собой лишь еще большее опустошение и отчаяние. Как только я села за этот стол -- сразу почувствовала, что все, что я хотела сказать, рассказать -- за десять часов ожидания в приемной из моей головы вылетело; я болезненным усилием пыталась восстановить все те фразы, которые, казалось, ловко заготовила вчера вечером... нет, ничего не являлось. Я решила не говорить о том, что нам туго и тяжело живется, что у меня нет постоянного заработка; говорить "о деле" было запрещено, называть знакомых, пожалуй, лучше не надо... Я все же сумела в путанной и бессвязной беседе через стол сообщить Игорю Александровичу во-первых, что мы побывали с Никитой в Новодевичьем на приеме у митрополита Николая Крутицкого, что он обещал немедленно хлопотать "и очень обнадежил" нас; второе, что наш ближайший друг по парижской жизни -- Григорий Николаевич Товстолес вернулся на родину "на двадцать пять лет". Я знала, что Товстолес в 51-м году был во Франции арестован и выслан, попал в советский сектор Берлина, через два дня очутился в тюрьме Моабит, где и был военным трибуналом приговорен на двадцать пять лет как бывший участник "Евразийского Объединения" и вывезен в скотском вагоне куда-то в дальние лагеря.

Конечно, тогда я и предположить не могла, что через несколько лет, в 1956 г., милый Гриша Товстолес прямо из Тайшета явится к нам в Москву, где и мы только-только зацепились жить по "временной прописке". Не знала и того, что в тот день свидания Марфино забыли предупредить, и только уж в пять часов дня туда позвонили из Бутырки -- а дело было в субботу, в Марфино всех повели в баню, и вот уже в седьмом часу Игоря Александровича начальство выхватило из бани, одело в какой-то костюм и помчалось в "воронке" в Москву -- все это узналось потом, через целых три года.

Мы вернулись на Песчаную к десяти вечера, там были смятение и страх -- искать ли нас, а если и утром не вернутся? Тин слабо пытался острить что-то за столом пока мы с Никитой ужинали, но Нина Петровна на него взглянула, и он умолк.

Я прожила тогда в Москве шестнадцать или восемнадцать дней и уехала не сразу после свидания в Бутырке... Внезапно для меня появилась какая-то надежда на более успешные хлопоты, и это-то, главным образом, меня и задержало... В эту же вторую часть моего пребывания на Песчаной я продала свою шубу. Беклемишевым про эту продажу не говорила, боясь, что они постараются ее купить подороже, чтобы мне "подкинуть деньжат"...

Новые хлопоты, по иному, неожиданному для меня руслу, подсказал Никита. Оказалось, до меня приезжал в Москву из Одессы, где он жил с 1947 г. и работал там в Семинарии, Николай Алексеевич Полторацкий, друг Кирилла Кривошеина, бывший председатель Фотиевского Братства в Париже. Он Никиту знал еще мальчиком в Париже, свиделся с ним у кого-то из общих друзей и повел его с собой в Новодевичий Монастырь на прием к митрополиту Николаю Крутицкому. Как заведующий Иностранным Отделом Патриархии митрополит Николай отлично знал и про другого брата Игоря Александровича, Василия, который жил в Оксфорде и недавно до этого был возведен в сан иеромонаха. Владыка Василий провел на Афоне более двадцати лет; он уже в те годы был известен своими богословскими трудами, в особенности про Григория Паламу, -- однако священнический сан долго не решался принять: во время отступления Белой Армии в 1919 г. у него были отморожены, а потом и отняты два пальца на руке, и он считал, что из-за этого не имеет права стать священником. Но Московская Патриархия, которой он всегда оставался верен, предложила ему принять священство невзирая на увечье, и Николай Крутицкий являлся прямым его начальством.

Словом, пойти на прием в Новодевичий вполне стоило, и ничего дерзкого тут не было, но я боялась (а мне ведь следовало или всего бояться, или же, наоборот, не бояться ничего). Когда мы с Никитой подходили к монастырю, все казалось каким-то наваждением -- идти в знаменитый монастырь, куда когда-то многие боярские и царские дочери попадали не по своей воле и до конца жизни, без надежды когда-либо освободиться от черной скуфии и мантии...

Большая лестница, длинный коридор или галерея, под сводами все чисто побелено, стулья и диванчики около дверей; у одной из них много ожидающих: священники в рясах и в штатском, две женщины неопределенного вида... Служитель в темной куртке, с большим и бледным лицом, не без самоуверенности, даже, пожалуй, не без наглости...

Я к нему подошла, тихо (ведь монастырь) спросила, где подождать на прием к Владыке Николаю, и мы с Никитой сели на диванчик.

Прием посетителей шел тягуче, чрезвычайно медленно -- прошло около получаса, а из кабинета Владыки вышел только один человек; я наклонилась к старенькому священнику, сидевшему рядом с нами, и спросила его: "А вы, Батюшка, давно ждете?" -- "Да вот уж шестой день, -- со вздохом ответил он, боюсь, что так и уеду восвояси, мне долго отсутствовать невозможно!" -- "Мне ведь тоже невозможно, -- шепчу Никите, -- пойдем, все равно нам не попасть, я не хочу больше стеснять Беклемишевых -- а тут и края не видно..."

Проходит еще какое-то время, и Никита тихо шепчет: "А вы подойдите к этому служке и скажите ему, что вы родственница дяди Гики (Владыку Василия в детстве звали почему-то в семье Гика) и что просите, чтобы вас сразу приняли. Не уходите же так... Надо решиться теперь, а то он вдруг уйдет на обед!" Не решаюсь никак, и вдруг, а ну-ка, и вот уж встала и быстро подхожу к служке в куртке и слышу, как говорю резко и слишком громко: "Будьте добры, прошу вас доложить Владыке

Николаю, что я близкая родственница Иеромонаха Василия Кривошеина, который живет в Оксфорде, и что прошу меня принять... Я приехала издалека, мне трудно долго ждать". Моментальная пауза раздумья, и он говорит: "Сию минуту, как выйдут, сразу доложу". Так оно и случается, минут через десять выходит очередной посетитель, служитель скользит в кабинет и выйдя, подходит ко мне: "Проходите в кабинет, Владыка вас ждет"... Мы с Никитой входим в заветную дверь, на секунду у меня дурнота и почти обморок, но вхожу -- и сразу с собой совладела: только много не говорить и ничего лишнего!.. И спокойно.

Подходим под благословение, садимся: Владыка Николай первый заговаривает со мной, расспрашивает, как живу, где -- умолкает. Я начинаю говорить: приехала получить свидание, надеюсь скоро получить разрешение, на все мои вопросы и прошения в высшие инстанции всегда ответ один -- осужден справедливо по статье такой-то... Про себя говорю как есть: постоянной работы получить не удастся, а ведь год, когда я преподавала в Педагогическом институте, в общем дал результат положительный, и я могла бы там понемногу укорениться -- студенты мои вполне успешно учились, я знаю отлично три иностранных языка, могла бы и переводить и преподавать... Умолкаю.

Владыка Николай говорит что-то вроде: "Не отчаивайтесь, все еще наладится..." А через некоторое время он как бы внезапно поворачивается в кресле ко мне и говорит совсем уж иным тоном:

"Не торопитесь уезжать; пойдите домой, спокойно сядьте и напишите прошение на имя Шверника -- главное, напишите все подробно".

Конечно, я верила, что Владыка Николай чем-то сможет нам помочь, а может быть, не признаваясь себе вслух, просто надеялась получить от него денежную помощь. Ведь он кое-кому щедрой рукой давал деньги, особенно тем из приехавших с Запада, кто к нему обращался, об этом я еще в Ульяновске слыхала.

Но имя Николая Михайловича Шверника[\*] меня почему-то удивило -- ведь он, собственно, был Президентом Республики; разве он имел какое-либо отношение к лагерям, к миллионам осужденных на даровую каторжную работу? Я не знала, что право помилования было в ведении Президиума Верховного Совета СССР.

"Простите, Владыка, почему именно Швернику?" -- "Да я его прекрасно знаю и часто вижу, -- ответил Владыка Николай, -- я при следующем свидании передам ему ваше прошение в руки. Напишите, и в следующий приемный день принесите мне -- я скажу, чтоб вас сразу пропустили... Да пишите подробнее, я очень надеюсь на Николая Михайловича..."

Благодарим за внимание, за сочувствие -- благословение и... мы оба уж снова в белой галерее, где все так же безмолвно и скромно провинциальные батюшки чают приема.

Наступает день приема в Новодевичьем, и я снова с утра еду туда; в сумке -- подписанное прошение на имя Шверника. У меня появилась искра надежды, раз Владыка сам предложил и близко знает Шверника... Вхожу в галерею, где все так же сидят ожидающие, служка мне кланяется, говорит негромко: "Сейчас доложу про вас", -- потом подает мне легкий знак, и я бесшумно, как и все, что происходит в этом фетровом царстве, вхожу в кабинет Владыки. Почему-то я одна -- мы, видимо, решили, что Никите на этот раз меня сопровождать не следует. Все идет чин-чином, после благословения сажусь и... умолкаю. Владыка спрашивает: "Что же, принесли прошение?" Подаю ему конверт; он молча и слегка нахмуренно все целиком читает. "Ну, что же, прекрасно, -- говорит Владыка, -- отлично написано, завтра увижу Николая Михайловича и передам". И помолчав: "Николай Михайлович хороший человек, очень добрый, хороший друг, я с ним на ты. Да, да, близкий друг". Я благодарю, спрашиваю: "Когда же можно надеяться на ответ?" -- "Вряд ли долго придется ждать, -- говорит Владыка, -- а вы скоро Москву покидаете?" Отвечаю: "Да уж через два дня, мне неудобно долго жить у знакомых, а там меня мои слепые ждут, они иначе учиться не могут". Внезапно Владыка спрашивает: "А вы какие языки преподавали? Расскажите подробнее!" Рассказываю про Пединститут и как меня сняли с работы за две недели до ареста Игоря Александровича. А теперь учеников совсем нет, люди предпочитают ко мне своих детей не посылать.

Владыка Николай говорит, помолчав и видно, что-то обдумав: "Вот что я могу вам предложить -- хотите переехать жить в Одессу? Там нужны люди, хорошо знающие языки, особенно французский -я говорю про нашу одесскую семинарию, они вам дадут ставку, чтобы вы были все же обеспечены, а обстановка у нас в семинарии приятная, мирная... А вы уже французский язык преподавали?"

Я совершенно смущена, ведь французский язык вот уж пять лет как преподает в семинарии наш друг Полторацкий, он же для семинарии делает и переводы с французского... "Но мне казалось, что там Николай Алексеевич, ведь он, надо думать, обеспечивает все классы... что же он... как же это? А в Ульяновске я преподавала немецкий и английский..." Владыка Николай меня перебивает: "Ничего, ничего, я слыхал, что вы прекрасно знаете языки, справитесь, конечно, да и если что, Николай Алексеевич поможет, ведь это такой милый человек... Ну, вот что, возвращайтесь в Ульяновск, но уж понемногу начинайте готовиться к переезду в Одессу, я вас немедленно извещу, вот адрес ваш тут есть -- а вам уж в Одессе придется сразу приняться за дело -- там по языкам иностранным у нас недохват... Ну, вот, так и решено, вам в Одессе будет много лучше жить."

Я до того смущена, до того огорошена... Владыка Николай это, конечно, замечает: "Да вы не смущайтесь переездом, у вас ведь будет в руках вызов на работу, увидите, все будет отлично -- главное, духом не падайте"...

Я ухожу, произнеся все формулы благодарности, подобающие в таком положении -- неужели я покину ненавистный Ульяновск, его хмурое, всегда глядящее исподлобья население?

Отъезд из Москвы происходит под знаком идиотского события: решаю кутнуть и покупаю билет в "мягкий" -- ведь я продала шубу, мне можно разок поехать в мягком... Из Беклемишевых меня никто не провожает -- только Никита и две приятельницы. Увы, оказывается, что Никита разорвал посадочный талон... Без него ни в один вагон, даже самый жесткий, не пускают; бегаем вдоль состава, умоляем впустить в поезд - нет, ни за что. Неужели возвратиться на Песчаную? Я от отчаяния даже не ругаю Никиту; до отхода поезда остается четыре минуты, мы все стоим печальной, поникшей группой -- вдруг из тамбура вагона, как раз надо мной, молодой голос мне говорит: "Садитесь в мой вагон, гражданка, так хоть уедете, а там, может, и место вам найду". Милая проводница помогает подхватить мой багаж, да и меня подтаскивает вверх по ступенькам вагона; обращаясь к Никите, говорит: "Эх ты, парень, ты что же это, всегда такой?" Но вся группа вздохнула свободно, свисток, еще, еще, и поезд движется -- машу рукой из тамбура... вот и едем. Вхожу в вагон -- о ужас! Все, все занято, на всех местах сидят военные моряки -- этот вагон идет до Владивостока, отпускники возвращаются на свой тихоокеанский флот, им ехать девять дней и они уже начинают устраиваться. Все же сажусь и сижу молча, на всех столиках начинают вырастать литровые бутылки водки, круги украинской колбасы, кирпичи черного хлеба, фляжки и стаканы, махорочный дым уж заволакивает вагон. В углу против меня сидит полковник -- что это мне везет на полковников? -- Он наклоняется ко мне и чрезвычайно учтиво (наверно на Казанском вокзале наблюдал в окно, как мы вперед-назад бегали!) спрашивает, куда я еду. Качает головой: "Что вы, да вы и не представляете себе, что тут будет твориться через часа два! Нет, нет, вам нельзя, вы просто не выдержите, да и вообще... мало ли что!" Помолчав, добавляет, что сам едет до Рязани и там мне передаст свое место, так что хоть сидеть где будет, но это же не решение вопроса: ищите скорее другое место. Я его благодарю, сижу, оцепенев от обиды и несправедливости судьбы, булькает водка в первых стаканах... Меня дергает за рукав та молодая проводница: "Идемте, идемте скорее, я все вагоны избегала -- нашла вам место, неважное, ну, да хуже чем здесь нет". Она подхватывает мои вещи и ведет через весь поезд в вагон "матери и ребенка"... Это далеко не идеал, но все же; хочу ей сунуть в руку десять рублей, но она не берет ни за что -- "Нет, нет, что вы, ведь вам помочь хочу!"

Понемногу и в этом вагоне становится тяжело, "матери" без конца и громко рассказывают друг другу историю своей жизни -- все, все подробно, и про мужа, и про золовку, и конечно, про аборт, про гадалок, про гада-начальника, который строит мужу козни. За Рязанью резко холодает, говорят, тут уже до 20° мороза; девушка поддает в топку угля, и понемногу жара в вагоне становится невыносимой - выхожу в тамбур покурить, там после дикого пекла кажется холодновато. Тут какой-то высокий человек лет тридцати, в кепке, видно рабочий, курит свои козы ножки; мимо нас раз и два проходит молодая женщина с громадным, туго набитым мешком, потом она возвращается в обществе начальника поезда. Тот ее чему-то наставляет тихим голосом -- глядите, ведь поезд стоит всего минуту, ступеньки обледенели; а за мешок не бойтесь, я вам брошу.

Начинает темнеть, снаружи поземка, и вот поезд снижает скорость, все медленнее... Остановился. Смотрю в окно: пусто, плоско, серый снег хлопьями -- та

молодая женщина и начальник поезда уже тут, в тамбуре; он открывает дверцу, холод обжигает нам лицо, женщина собирается выходить из поезда почти на ходу, но начальник ее придерживает за рукав зимнего толстого пальто; но вот она прыгнула вниз... "Есть?" -- кричит начальник. -- "Да, да, стою", -- кричит женщина. Он со всего маху кидает ей мешок, свисток, мы уж двигаемся -- внезапно из мглы вырастает деревянный полустанок, совсем пустой, никого; я вдруг читаю почему-то вслух: "Потьма", поезд набирает скорость, кругом снег...

Обращаюсь к рабочему: "Это куда же она, тут будто и дома-то ни одного нет, такая молодая, одна, с этим громадным мешком, да и буря". Он смотрит на меня равнодушно, говорит: "Ничего, тут поселок есть, только он с той стороны, его и не видно..." Что же это за название странное -- Потьма?... Татарское, что ли?" Рабочий объясняет: "Нет -- Мордва тут, тут ведь Мордовия..." А... что это? Ведь я что-то должна знать, что-то должна понять... Но нет, никак. Мы стоим и курим до утра, в вагоне + 32°, дети, очумев от жары, в одних рубашонках -- плачут, капризничают...

Меня встречает Ольга Петровна Любищева, везет домой в такси -- они из первых, что появились в Ульяновске; вечером иду к ним, все подробно рассказываю, и про Бутырку, и про Новодевичий -- одесский проект здесь, в Ульяновске, звучит малоубедительно... На следующий день валюсь в дикой простуде, с жаром и удушающим кашлем на целый месяц, докторша убеждает меня лечь в больницу. Нет, ни за что -- меня лечит Екатерина Николаевна, моя соседка, учит мазать нос перьями свежего лука, и на ночь дышать отваром картошки в шелухе -- читать слепым я не в состоянии, а ведь у них скоро сессия...

Это уж декабрь 1952 г., надвигается грозный 53-ий... Тянется дело врачей, Надежда Яковлевна покидает Ульяновск, Амосин ходит, как пришибленный, молчит -- от него ни слова не добьешься. Безобразные эпизоды-анекдоты постепенно сходят на нет, но гуща населения твердо и уж навсегда усвоила, что знаменитые кремлевские врачи -- да и не одни жиды только, а вот и Виноградов с ними был!! -- за доллары продавали что-то или кого-то, отравляли или отравили кого-то там наверху, кто в Кремлевке лечится, а у нас в Ульяновске, вы думаете нет? Да и у нас тоже, вон у Степановых теща ослепла, а ей глаза как раз жид лечил, вот вы и понимайте, что к чему...

Жид, жид -- да что же это за наваждение?? Вот почему у нас очереди, почему нет муки, почему нет... Итак... *Juden gam!* -- Опять! Но Боже упаси это вслух сказать, да неужели же вы с Гитлером сравниваете? Ведь там фашизм был... это-то вам ясно или нет? Да, да, все ясно, а впрочем, я вот тихо, тихо живу в своей кухне-прачечной и помалкиваю, я уж почти и не дышу...

Солнце светит по-весеннему, черный шлак из жерла фабрики КИМ, покрывающий крепкой коркой весь наш квартал, поблескивает, и Васька веселится во дворе -- приходит Екатерина Николаевна за водой с двумя громадными высокими ведрами... Молча разворачиваю перед ней последний номер Правды -- почти вся первая страница бессовестно и безудержно покрыта потоком приветствий, пожеланий и благодарности "нашему отцу, учителю, самому мудрому и доброму

человеку, любимому Вождю и Учителю всего народа... и желаем ему здоровья, счастья, надеемся еще долго жить под его мудрым руководством... вечной, вечной ему жизни!" Тут и из Тюмени, и из Оренбурга, из Кишинева, из Черновиц, да разве перечесть!

-- Екатерина Николаевна, да что же это? Ведь дальше уж слов не хватит, и все в превосходной степени, все выше и выше забирают! Что будет, что будет?..

Она шепотом отвечает: "Да, ужасно и безумно страшно... Я и сама уж больше ничего не пойму". -- "А Ирочка?" -- "Что Ирочка, молчит, и лицо каменное, и говорить с ней боюсь".

Так жизнь идет, все на месте, слепые приходят, исправно учу их немецкому языку, объясняю им про ионические и коринфские колонны в Греции, читаю вслух Ленина -- это теперь часто приходится, хотя многое и есть на Брайле -- бесконечные периоды в полстраницы, где zu "на конце" очень утомительны, да я и вообще начинаю быстрее уставать.

Приезжает на февральские каникулы Никита: веселый, с отеком лица -- в общежитии питается одними пельменями, по две пачки в день. Да у него уже любовь -- "предмет" удивительно неудачный, и чуть ли не сразу мне понятно, что это неспроста, девицу Никите грубо подкинули, у нее в Институте слава вполне определенная. Пытаюсь хоть немного раскрыть ему глаза, но конечно, тщетно; мать, увы, всегда бессильна.

После моей поездки в Москву ко мне какие-то люди начинают заходить чаще. Вот Вера Михайловна Еленевская -- когда-то в первый год мы с Игорем Александровичем у них бывали, нас познакомила Вера Александровна, сестра Угримова, которая тогда жила под Ульяновском, в Майне. Сам Еленевский - профессор какой-то сельскохозяйственной науки, партиец. Его начальник сам Красота, тот, который напал на Любищева. С тех пор, как я осталась одна, Еленевский ни разу не поклонился мне на улице -- перебежал на другой тротуар.

Я уже не лежу, и кашель начинает затихать; в сенях стучат в дверь, входит Вера Михайловна -- в хорошем пальто, в отличной меховой шапочке; ей все идет, у нее прелестное петербургское лицо, манеры, говор, она умница, беседы о музыке и концертах между нами, кажется, никогда не иссякнут... А ведь я не видела ее больше двух лет! С ней Джим, роскошный поинтер -- протягиваю руку, чтобы его погладить, три года назад он был мне закадычным другом...

"Нет, нет! - шепотом говорит Вера Михайловна, - отнимите потихоньку руку, у него тяжелый авитаминоз, и мы боимся, чтобы он не наделал какой беды". Джим кладет тяжелую деревянную лапу мне на колени, но я не смею его погладить.

Вера Михайловна оглядывает мой "дом" и... мы очень быстро и вполне естественно начинаем беседу про все: про Никиту -- как он в Москве? "Говорят, вы добились свидания?..." Потом, так же просто переходим на музыку, и про давние

концерты, а вот она была в Ленинграде и там слушала Баха в чудесном исполнении, вдруг все снова просто, этих двух лет будто и не было... Да и на кого я имею право сердиться или обижаться?!

Но вот она смотрит на золотые часики: "Ой, пора, пора домой, а то ведь Семен Николаевич и не знает, что я к вам пошла, он может вдруг забеспокоиться". Она вынимает из сумки 500 рублей и мне подает: Только не отказывайтесь, я знаю как вам надо, я давно бы принесла, но... сами знаете, как жизнь..." Вера Михайловна с Джимом уходят.

А вот и другой друг, неожиданный и негаданный, доктор Александра Александровна Греч; она работает в той поликлинике, где я не бываю, потому мы и не были знакомы до того времени, как она сама на улице со мной не познакомилась. Это было осенью 1950 г., она меня остановила на улице громким восклицанием: "Здравствуйте, здравствуйте, Нина Алексеевна, что это я вас так давно не вижу!" Но я не знаю ее, вижу в первый раз, не знаю, кто она, и смущенно, с опаской пытаюсь улыбнуться этой незнакомой, полной, стареющей даме. Она, однако, опять восклицает: "Да вы, я вижу, меня не узнаете? Я ведь доктор Греч, Александра Александровна, как же так вы меня забыли?"

Нет, я ничего не забыла... Через несколько дней она ко мне приходит часам к пяти дня, приносит мешок сладких булочек и сушек -- сушки особенно трудно добыть -- и располагается посидеть, почаевичать, поговорить. Так оно и началось, и сделалась настоящая дружба - она всю войну прошла врачом, побывала и в Югославии, и в Чехии, рассказы про войну у ней не иссякают. У нее хорошая комната в "военном доме" на окраине Ульяновска -- она меня к себе никогда не приглашает, однако...

Продолжают ко мне изредка заходить и некоторые Никитины друзья по вечерней школе -- одни пытаются учиться дальше, другие счастливы, что хоть десятилетку одолели, очень немногие начинают проходить курс ВУЗа заочно.

Словом, немало у меня было друзей в Ульяновске -- много больше, чем следовало ожидать; в этом глухом городе, который одной ногой стоит в Азии, всем про все известно, устная газета работает бойко; здесь дружат через дом -- с ближайшими соседями своими обычно никто не разговаривает, а то и просто не кланяются (впрочем, во французской провинции так же), ну, а по вечерам, идя с работы, стоят у сеней и шепчут -- и что было в татарском квартале: "а он его поджидал у дверей и ножом под живот и полоснул, ну и кишки вон"; или "как жених стал радиоаппаратом чинить, а сам его и не отключил, ну, вот, подумай, так парень и прилип, а она, Галина-то, как бросилась его тащить и... сама прилипла... вот тут уж мать подумала, да рубильник выключила, а оно уж поздно..." Вот в эту же категорию диковинок попадала и я: моя фигура с Ульяновском никак не сливалась, кое-кого моя судьба ужасно раздражала... Эту мысль весьма ярко и точно выразила однажды моя соседка Салтычиха; как-то она с Агриппинной Алексеевной стояла у моего открытого окна и что-то хозяйственное громко с ней обсуждала -- а тут как раз, стараясь быть совсем скромным, появился рядом с ними мой Васька. "Ах! Паршивый кот!" --



нарочито громко воскликнула Агриппинна. "Да что уж говорить, - поддержала ее Салтычиха, - известно, что хозяйева -- то и их животные..., -- и помолчав, добавила, тоже громко, четко (это привожу дословно!), - вот надо же, - приехала к нам эта проклятая аристократка с голоду подыхать!"

Однако и среди будто "своих" тоже были такие, которые активно проявляли свое недоброжелательство. Незадолго до нас приехали в Ульяновск некая Madame Marie, совсем простая француженка, и ее муж, русский, попавший во Францию сразу после Гражданской войны. Он проработал рабочим на каком-то заводе на Севере, там познакомился с Madame Marie, детей у них не было, и он решил вернуться домой. Я ее как-то встретила в Переселенческом Отделе, а позже она раз или два появилась у меня -- сразу после нашего переезда в прачечную-кухню. Несколько позднее она опять зашла, сказала, что они с мужем покидают Ульяновск и уезжают на Украину; и вдруг с негодованием начала мне толковать, как она вот уже месяц пытается собрать для меня денег, обошла всех "реэмигрантов", предлагая им, чтобы каждая семья хоть по десять рублей в месяц для меня сохраняла... -- "Pensez, pensez donc, Madame, on me dit d'aller chez cette grosse mumure, la Katchva -- la. Je me presente chez elle gentiment, et qu'est-ce qu'elle me sort? C'est interdit, tout a fait interdit... Mais qu'est-ce qui est interdit? D'aider cette malheureuse dame? Mais c'est pas possible!! Que si, elle me fait, son mari est condamnu par un tribunal sovietique, c'est qu'il est coupable et on n'a absolument pas le droit d'aider sa faminle. Mais vous risquez les pires ennuis, chez nous il n'y a que les coupables qui sont condamnus... Donc moi je m'y oppose formellement, a cette collecte, et je previeendrai tous les autres!"

Тут Madame Marie расплакалась, повторяя на своем ломаном русском: "Что с вами теперь будет! Что делать?" Я ее благодарила, сказала, что раз говорит жена Качвы, то она уж знает, что говорит, что верно, все так и есть... -- "Ah, mais quel pays, Madame, mais c'est pas humain des choses pareillesy. Она ушла и через неделю с мужем уехала; через год, как я потом узнала, они сумели вернуться во Францию.

А выступление Елены Никифоровны Качва меня мало удивило: ведь ее муж был главным секретарем в Париже на rue Gallийга, когда там только начал зарождаться Союз Советских Граждан во Франции, сам был он с Украины, смазливый, бабник - все и вся знал, и вел тут дело крепко, решительно и... всегда с ласковым своим тенорком вырастал из-под земли, как тень. Он работал шофером такси в Лионе много лет, а тут сразу оказался при таком деле, в Париже -- вел себя в общем неглупо, хотя образования у него было -- ноль.

За последние годы, уж здесь, в Париже, нам пришлось прочесть несколько американских книг про КГБ и советских шпионов на Западе -- в списке, приложенном в конце одной из них, на букву к значился КАЧВА, многолетний агент КГБ во Франции.

Среди фигур, прошедших в те годы рядом с нами, даже как-то вклинившихся в нашу семью, оказались Гораций Аркадьевич Велле, его жена Фанни и двое их сыновей -- Юрий и Вовка. Они познакомились с Никитой чуть ли не на улице (это было в конце 1951 г. или зимой 1952 г.). Были они во Франции коммунисты, смутно

существовали какой-то семейной трикотажной мастерской, а Фанни, очень привлекательная, а временами и просто красивая, была коммивояжером у парфюмерной фирмы Dosteug Rayot, которая тогда только начиналась. Страх попасть в немецкую дьявольскую печь кинула их всех куда-то в горы, в maquis, но слушая Горация, можно было подумать, что они, собственно, одни и руководили во Франции движением Сопротивления. Удивительный сам он был Хлестаков, пускал в Ульяновске всем пыль в глаза: он, мол, и писатель, и герой. Любимый рассказ его был, как он вдвоем с Юрой, которому тогда было 18 лет, освободили в 1944 г. от немцев город Ля-Рошель. Грубо картавя, он всем давал понять, что так, как он, никто из приехавших в Ульяновск "реэмигрантов" не говорит по-французски... Фанни -- милая и добрая женщина, которой тогда было всего сорок лет, -- была, увы, сумасшедшей: первые признаки безумия обнаружились сразу после окончания войны. А когда она приехала в Ульяновск, ей стало хуже, она неоднократно попадала на месяц-два в психдиспансер, во главе которого стоял замечательный врач, знавший свое трудное дело психиатра до тонкости и всегда благожелательный -- Александр Иванович Скипетров; я от него видела много добра и внимания к себе, хотя до психдиспансера сама и не дошла, -- а ведь в 1954 г. и я была от него недалеко; но это он меня удержал на поверхности, когда я вдруг начала тонуть...

Семья Велле кружила вокруг нас еще долгие годы; они никак не хотели выпустить нас из своей орбиты -- впрочем, дурного замысла у них не было. Бедного Горация еще в Ульяновске в сорок четыре года хватил "кондратий" -- они жили втроем (Юра уж был в Москве) в чуланчике четыре метра на два; Фанни с утра уходила работать на фабрику "КИМ" рядом со мной, а я в течение месяцев двух-трех ходила к Горацию, кормила его с ложечки, резала ему кусочками хлеб, давала пить из стакана -- правая рука у него была парализована. Словом, их жизнь в Ульяновске была не сахар, но когда я болела, они тоже старались мне помочь.

Наступил март 1953 г. В этот день я куда-то ушла с утра, не успев утром послушать Москву; вернулась домой к часу и тогда только включила приемник... На меня волной хлынула траурная музыка; наверно, я ошиблась станцией, не ту кнопку нажала... Нет, музыка эта лилась на всех советских волнах. То Реквием Моцарта, то ноктюрны Шопена, то Лунная соната Бетховена, то Чайковский -- Пятая симфония. Днем я все же пошла к Екатерине Николаевне: "Что это? В чем дело? Слыхали что-нибудь?" - Она шепотом ответила: "На базаре говорят, что Сталин заболел..." Эти слова иначе как шепотом невозможно было сообщать, еще вчера, пока не началась эта надрывная музыка, их вообще нельзя было не то, что сказать, но и подумать... Не мог же Сталин, как прочие люди... умереть!

Часам к шести я зашла к Любищевым, у них было тихо, никого чужого, и уж было понятно, что вот-вот тарелочка на стене что-то скажет, оповестит всех о случившемся, и от этой надрывной музыки останется страшный след. Ольга Петровна утирала глаза, на скрывая: как многие, прошедшие всю войну в мундире и на фронте, она преклонялась перед Сталиным, и это было у нее искренно, она верила, что он гений, что он обо всех заботится, что он великий государственный человек, что это он был победителем в войне... Сколько же я их таких видела, добрых, милых, всегда готовых помочь другому, людей! А я? Разве я знала про

Сталина хоть часть правды тогда? Ведь мне, прожившей двадцать пять лет в Париже, могло бы быть понятнее... Но я тогда еще считала во всем виноватым Берию, мне казалось, что это он злой гений, а не Сталин... Я знала, что в стране происходило и произошло много лет тому назад нечто ужасное, собственно еще никому не понятное до конца; многие сумели устроиться, примениться к дикому устройству жизни, да и оно даже было удобно: "наверху сказали", "наверху решили", "наверху думают, что...", "руководство считает...", "начальник приказал", "начальник требует", ну, а мы ничего, мы исполняем, мы докладываем. Дети, те искренне верят, что жизнь стала краше, жизнь стала веселей!

... На следующий день встречаю на улице Любовь Александровну, она утром была в церкви, и там без конца подают записки священнику "О здравии болящего раба Божия Иосифа", а после обедни служили молебен с хором "о здравии".

... На улицах наскоро установлены громкоговорители, и печальная надрывная музыка объемлет весь город, весь транспорт, все заводы... Боже! Сколько же еще времени это возможно?..

Иду в дом к Екатерине Николаевне, к прелестной старушке, снимающей у нее комнату, с которой у меня дружба. Мария Федоровна -- ей тогда уж минуло восемьдесят -- сидит в своей чистенькой комнатке, вяжет крючком скатерти на круглый столик для продажи, и "тарелочка" изливает на нее траурные звуки. Она заваривает мне чай, но заметив, что я от этой музыки морщусь, предлагает ее выключить. "Да, да, прошу вас, Мария Федоровна, вторые сутки подряд, я просто не могу этого выдержать -- дома у себя наглухо выключила". Она качает с опаской головой -- как же это вы так? Мы садимся пить чай с какой-то сладкой булочкой; Мария Федоровна улыбается, у нее светятся при этом еще яркие и умные глаза. "А вот, -- говорит она, -- вчера с утра как слушаю, а с обеда прямо поставила стул поближе, вяжу да потихоньку плачу... И первого мужа вспомнила, и второго, и сына единственного, убитого в войну... Вот так вяжу себе и всех вспоминаю, и мне теперь так легко на душе, так легко..."

На следующий день, 5-го марта, когда объявляют о смерти Сталина, меня опять дома нет. Жаль! Зато днем, часов в пять-шесть, включаю Францию (мой малютка-приемник совсем особый, он отлично ловит внутреннюю французскую волну -- чудеса, но правда...). Попадаю сразу на общее годовое собрание французской компартии в Обервилье, где она годами царит в мэрии...

Слышен отлично гомон голосов -- это люди входят в зал мэрии... Какое-то замешательство, голос заявляет: "Мы принуждены задержать начало заседания минут на десять". Проходит четверть часа, возобновляются шаги, движение, слышно, как кто-то поднимается на трибуну, сразу раздаются аплодисменты: "Bravo, Duel os! Vive Duclos!" Видно, он жестом просит полной тишины и начинает, еле произнося слова: "Camarades, je viens vous annoncer une atroce nouvelle", -- и внезапно замолкает, и мне четко слышно, как он безудержно плачет... "Nous venons de recevoir confirmation de la nouvelle de la mort du Camarade Staline"... Голос у него обрывается, и почти сразу другой голос говорит: "Dans quelques minutes le camarade

Duclos va prononcer l'йloge funubre du grand disparu"... В приемнике -- абсолютная тишина... Наконец опять Duclos, он с трудом говорит, почти все время, не стесняясь, громко плачет, то тут, то там в зале мэрии раздаются рыдания, возгласы: "C'est terrible, quelle perte! Adieu, Staline". Duclos, кончая, предлагает почтить память "du grand Staline, notre maotre a tous". Все встают, долго, несколько минут, слышны плач, рыдания... Они, видимо, назначили годовое собрание французской компартии, еще не зная о болезни Сталина; впрочем, откуда они могли узнать? Ведь об этом в течение целых трех дней советское радио ни разу ничего не заявило -- даже им, очевидно, тоже ничего, а ведь они -- самая значительная компартия в Европе! Не до них было!

Передают по радио похороны Сталина, слушать передачу ко мне приходят Гораций и его старший сын Юра, которого уж в начале дела врачей выставили с московского радио, где он работал переводчиком. Опять бесконечная музыка, траурный марш Шопена и... начинают речи с мавзолея -- вот это интересно послушать! Сперва что-то маловнятное читает Маленков, а вот и Молотов -- тот самый, которому я написала столько прошений подряд... Он уж и так не Демосфен, а тут уж совсем заикается, повторяет деревянным голосом слова, потом совсем замолкает -- нет, опять поехал. А вот, наконец, и Берия; что ж, этот говорит более внятно, в каждой фразе есть какой-то смысл -- он надеется, что великая фигура ушедшего вождя поведет страну вперед...

-- Ну, и кто же лучше всех сказал? -- спрашивает меня Гораций.

-- Кто? Ну, ясно, Берия, у него все же что-то цельное, как-то речь построена, подготовил.

-- Да, -- тянет Велле, -- он, видно, меньше смущен, а те просто дрожали от страха.

Кончается Великий Пост, вызывают Амузина в комитет антирелигиозной пропаганды. Ему предлагают на Страстной прочесть ряд антирелигиозных лекций в городах и селах вокруг Ульяновска -- но нет, он не уступает, говорит им: "Ведь вы отлично знаете, что я еврей, и хотите, чтобы я на Страстной вел в провинции антирелигиозную пропаганду? Помилуйте, да они меня там не то что яблоками, а камнями закидают! Ведь это уж граничит с провокацией". >

Они наконец, соглашаются -- в самом деле как-то неловко... Да и откуда-то тянет иным духом внезапно!

Да, так оно и есть, в субботу на Страстной все громкоговорители в городе сообщают, что произошла нелепая ошибка, что доктор Лидия Тимашук, единолично поднявшая дело врачей, всех грубо обманула, что арестован Рюмин (насколько я помню, начальник следственного отд. МВД), что всех арестованных врачей выпускают и... восстанавливают в должности... Что за бесстыжая петрушка!..

В Пасхальное воскресенье иду к Любищевым к двум часам дня обедать; Любовь Александровна отстояла заутреню и обедню в единственной церкви Ульяновска;

куличи у нее вышли отличные, есть и мазурки, пасха с бумажной розой красуется на столе; Любовь Александровна сияет от счастья -- опять пришел любимый праздник! Сам Любищев взволнован: "Вы слышали? Слышали? Вот так дела!" Мы еще ждем Амусина, за стол без него не садимся. "Где же он? -- волнуется Ольга Петровна, -- всегда такой точный!" Наконец, звонок, входит Амусин; он ужасно бледен, говорит: "Извините за опоздание, вот стоял под столбом на улице, слушал..." Он закрывает лицо руками, беспомощно опускается на стул и плачет -- столько времени держался, а тут вот конец наваждению.

Но Пасха, как всегда, берет свое. Когда принимаемся за куличи и кофе, у всех радостные лица. Жаль, Надежда Яковлевна уехала, как-то она сейчас в Чите? Она писала -- к ней там хорошо относятся, но климат дьявольский, уж нелетают бури песка и навоза -- дышать подчас нечем.

Столько потрясающих событий сразу обрушивается на страну... А что же отъезд в Одессу? А где же ответ от Шверника? Сколько же лет я все еще буду верить обещаниям -- французы их зовут "des promesses gratuites"? Однако вопрос остается, и ответа на него я до сих пор не нашла.

Кроме как с Любищевым, ни с кем об этом всем не говорила... Ну, да Александр Александрович после первых моих слов по приезде из Москвы мало выражал надежды... Но... Как же это так, все же?

\*

На весь июль месяц ко мне уж второй год приходит ученица, Лиля Абрамова, студентка в Ленинграде на Медицинском факультете; на лето она приезжает в Ульяновск к матери. Она приходит ко мне ежедневно на полный час: чтение, пересказ, беседа на тему по-английски. Никто ее не заставляет, она сама меня нашла и усердно относится к нашим урокам. Она родилась в Хабаровске, ее отец занимал видный пост на Китайско-Восточной железной дороге. Мать Лили работает бухгалтером в женской школе, и у ней там неплохая комната; она, после того, как Китайско-Восточная железная дорога снова отошла от Китая в ведение СССР, провела десять лет в лагерях. Лилин отец погиб в лагерях очень быстро, ее с четырехлетнего возраста воспитывала бабушка, здесь, в Ульяновске; фамилия бабушки Пфеферкорн, она из волжских немцев, но каким-то чудом ее из Ульяновска в Сибирь не вывезли.

Мне очень нравится Лилия, она делает заметные успехи по-английски, всегда чистенькая, приветливая, деловая. Знакомлюсь с ее матерью. Высокая, с прекрасной фигурой, прелестное лицо, горделивая посадка головы. Дома, почти не переставая, курит махорочные козьи ножки. Как-то раз вдруг начала сама мне рассказывать свою жизнь, показала молодую карточку своего мужа. Ужасная судьба -- вот встречали их всех, служащих КВЖД, с шампанским, на станциях играл оркестр, всем подносили букеты, а через год все уж были в лагерях, кто на десять, кто на двадцать пять лет! Это тридцать первый -- или тридцать третий год. Работа в лагере? Она только руками машет: "Нет, не надо вспоминать!".

В середине августа ко мне более или менее неожиданно приходит жена председателя Союза Писателей Ульяновской Области, Кожевникова: кто ее направил ко мне? Ее зовут Бэтти, она -- удивительно красивая еврейка -- как это я ее до сих пор не встречала на улице? У них квартира в общежитии Пединститута, она приглашает меня учить ее двоих детей английскому. Условия: приходиться к 10ч. утра, заниматься с дочкой Таней, которой тринадцать лет, потом с маленьким Андрюшей -- шесть лет... Так как ни она, ни муж дома не обедают -- то обедать с детьми и в два часа домой; Таня уйдет в школу, а она сама вернется. Оплата -- триста рублей в месяц!

Я чувствую себя как молодой Ротшильд -- триста рублей в месяц и каждый день обед -- ай да Бэтти! Про обед все понятно -- ей хотелось бы, чтобы, сколь это возможно, я научила детей "манерам": как сидеть за столом, как и чем есть...

В начале июля -- еще одно предложение покинуть Ульяновск -- тоже ехать на юг, в Кутаиси; еще в 1949 г. случайно завела знакомство с молодым сапожником -- он чинит подметки и каблуки в городской будке. Сам он грузин лет тридцати; понемногу наши беседы становятся все более дружескими, а вскоре после ареста Игоря Александровича он сам со мной заговаривает, спрашивает: как же это я живу? Он болеет душой за Никиту -- Никита всегда дружил с грузинами, так вот и с этим Володей Шавулидзе. Володя уехал из дома, поссорившись с отцом, когда тот в семьдесят лет в третий раз женился; жил в Казани, там женился на местной татарке -- у них уж две маленькие дочери.

Как-то Володя, очень учтиво и стесняясь, приглашает меня прийти к нему домой; он купил развалюху и своими руками все там отремонтировал, покрасил -- просит прийти поглядеть, как он живет. Они с женой принимают меня с обычным ритуалом и почетом, как полагается в Грузии -- дом устроен с большим вкусом, чистота в нем потрясающая -- на столе богатое угощение, пироги, булочки, варенье -- все домашнее... Теперь Володя помирился с отцом, тот его зовет вернуться, ведь Володя -- старший сын, будущий глава семьи.

Он приходит сам ко мне -- чего никогда себе не позволял, хотя я и его жену, и его не раз к себе звала; Володя говорит: "Едем со мной в Кутаиси, я вас привезу с собой, как члена своей семьи, и вам будет от всех там почет -- у нас это так и по сей день. А учеников там будет, сколько нужно, и на английский, и на французский. А потом не забудьте, у вас имя Нина, а это уж значит, вы -- наша... Ну, и Никита будет нормально жить и учиться. Думайте, думайте крепко, через две недели мы едем. Я уж и дом продал, вот купил за шесть тысяч пять лет назад, и теперь продал за двадцать пять!" Передо мной мелькают дыни, абрикосы, виноград, теплый климат, жизнь среди людей иной цивилизации, море, горы... Кажется, уедешь из Ульяновска и убежишь от своей судьбы - Может, там все и будет иначе?!

Мучаюсь этим вопросом ужасно -- ведь это неожиданно, не подарок ли судьбы?.. Как быть? Неужели отказаться?

И все же отказываюсь. МГБ меня так легко и не выпустит, да к тому же тут ко мне все уже привыкли, а там я опять стану белой вороной... Любищевы считают, что соблазнительно, но... Володя одно, а его кутаисская семья -- кто ее знает, что она скажет... А если, не дай Бог, Никита там что-нибудь не то скажет про Сталина? Ведь в Грузии Сталин вроде божества, особенно теперь, когда он умер!! Володя с семьей уезжает, дает мне точный адрес в Кутаиси: "Если надумаете приехать -- дайте телеграмму, будем вас ждать на вокзале!"

Помимо всех событий этого лета есть еще одно, может быть самое для меня тяжелое и почти непереносимое, и это -- фантастическая жара и засуха. С конца мая и до начала августа не упало ни капли дождя, суховей дует и обжигает на своем пути все и вся; с семи утра жара становится непереносимой, а наш старинный квартал, весь деревянный, с высокими деревянными заборами, в буквальном смысле слова горячая сковорода, которая за ночь не успевает даже немного охладиться.

Земля трескается от жары, через всю громадную площадь Ленина тянется трещина сантиметров в пятьдесят, клубы белой пыли поднимаются и кружат по ней, как в пустыне, у нас во дворе 60° жары; в колхозах под Ульяновском рабочие закапывают в землю яйца, и к обеду они уже сварились вкрутую. Мне иногда кажется, что это навсегда, я не сплю, не ем, занавешиваю свои маленькие окошки мокрыми тряпками, поливаю деревянный пол - все равно, зной невыносимый, блеск от иссохшей земли тоже, ад какой-то!

Как-то иду к Екатерине Николаевне -- что это? Барометр стоит на буре! Смотрите, смотрите! к ночи будет гроза и дождь! Но Екатерина Николаевна только усмехается -- барометр стоит на буре вот уже второй месяц!

Старожилы вспоминают, что даже в голодный 1921 г. и то не было такой жары и засухи.

Время идет, ничего не меняется -- правда, вдруг исчез Берия: что, когда? -- Вот так фокус! Лаврентия Павловича будто и не было, а был... некий никогда и никем не уличенный английский шпион! Sic transit... Ну, а дальше что же? Да вот ничего, все как-то само продолжается, выходит, что и без Сталина можно прожить и... даже без Берии. Наша переписка с п/я Nob8 на Главпочтамте в Москве продолжается - и тут все как было, тоже ничего не меняется.

Тяжело мне дается это лето, начинают у меня силы снашиваться, у меня больше уже нет того, что англичане зовут punch -- задор, ответный удар или когда надо -- резкое нападение... Да и жара меня докапала, начинаются удушья от сердца, полное отвращение к пище -- иногда думаю: вот зайду, куплю себе "сто грамм" столичной; соблазн подчас выше сил... Ну, нет, нет, ни за что! Ведь раз "вкусив", пожалуй уж и не остановишься... Курю ужасно, по две пачки "Парашютиста" в день, летом дешевые папиросы в Ульяновске исчезают, есть только дорогие -- "Казбек" или "Ява", да и то не каждый день... Бывает, что поздно вечером вдруг замечаю, что дома нет курева и тогда, несмотря на страх перед хулиганами и грабителями, бегу по пустым улицам в магазин -- купить поштучно 3--4 папиросы, кладу их рядом с

кроватью, вдруг захочется курить и... часто просто их не трогаю. Но дома есть, это главное! В городе царит настоящий психоз страха -- молодчики Ворошиловской Амнистии гуляют, хотя, конечно, не в одном Ульяновске; вот Александр Александрович едет, как каждое лето, в Ленинград читать курс лекций -- поезд из Свердловска приходит поздно, около полуночи, и на вокзал его провожают трое друзей: одному с чемоданом рискованно -- могут и избить, и убить.

Осень 1953 года. Я очень занята: все утро на уроке с Таней и Андрюшей, после обеда легкий отдых, а там и слепые приходят, часто до позднего вечера; они уже на последнем курсе, работаю с ними все больше.

В конце октября валюсь в страшной дезинтерии, меня увозят в больницу -- почти на месяц.

По возвращении домой, где меня встречает Екатерина Николаевна, спрашиваю: "А письма мне от Игоря Александровича были? Я ему из больницы три раза писала, может быть есть ответ?" Она молчит, и тут я вижу на столе стопку писем, почему-то ее сразу не заметила... Беру письма -- а это как раз и есть мои три письма, все по тому же адресу: п/я 68, Главпочтамт, Москва, и на каждом конверте в левом углу сверху надпись: "адресат выбыл" и число.

Почему-то сразу в голове стучит, как молот: "В расход, в расход, в расход"...

Валюсь на кровать, и Екатерина Николаевна несколько минут приводит меня в сознание: кладет мне в рот сахар с валидолом - сразу полегче, но говорить еще долго не могу... Екатерина Николаевна повторяет что-то утешительное, надо подождать, надо еще узнать, ждть известий... Ну, конечно, конечно.

Я кричу: "Не стану здесь одна ночевать, хочу уйти, сразу, скорей, скорей!"

-- Да куда же?

-- к Любичевым, они что-то посоветуют, придумают.

Через десять минут Екатерина Николаевна присылает ко мне старшую дочку, я беру мешок с ночной рубашкой и туфлями, Ирочка все тушит, запирает дверь и ведет меня под руку к Любичевым; по дороге к нам пристает стайка юных хулиганов, стараются задеть Ирочку, толкнуть ее или меня, свистят, гикают -- а один со злобой и каким-то рыком запускает по скользкому тротуару тяжелую железную трубку нам вслед, и она пребольно меня ударяет в ноги. Наконец входим в дом, где внизу студенческая столовая -- они все влетают за нами и кидаются в столовую -- прямо на буфетчицу, тетю Машу; ну, ее не очень-то напугаешь, и я слышу, как она сразу грозит вызвать милицию. Ирочка тащит меня вверх по чужунной лестнице и передает Любичевым.

Остаюсь у них на несколько дней -- в полной растерянности, даже не думаю о том, удобно им или нет, что я ночую в столовой на диване.



На третий день звонит по телефону из Москвы Никита, Ольга Петровна меня зовет: "Скорей, скорей, это Никита - у него новости". Никита, оказывается, давно знает о том, что отца вывезли, говорит, что сегодня утром пошел в ГУЛаг и там узнал, что Игорь Александрович переведен в лагерь в Тайшет.

Эти неведомые слова, как из какого-то древнего заговора, вдруг входят в мою ульяновскую жизнь. Садимся обедать, Александр Александрович доволен, что Никита так все сумел узнать и сразу позвонил -- он очень любит Никиту и всегда его хвалит. Что за Гулаг? Это, наверно, не по-русски -- что-нибудь калмыцкое, восточное? -- Никто из нас этого слова еще не слышал. А Тайшет? После обеда Александр Александрович тащит толстую, пухлую от времени книгу Железнодорожный Указатель и потирает руки: "Ну, поищем, где этот Тайшет?" Он обожаем играть с указателем, ищет какие-то пересадки, новые и старые линии - жажда переездов всех русских людей из одной части громадной страны в другую и ему не чужда... Но Тайшет трудно дается, Любищев почему-то ищет его на Урале, или за Ташкентом, наконец говорит: "Что ж, надо в Сибири поискать" -- и полистав еще, находит Тайшет... Ехать туда чуть ли не трое суток, а ведь скоро-скоро мы все точно узнаем, что это за Тайшет, всего через полгода -- а тогда, в ноябре 1953 г., никто не знал, хотя в то время в Тайшете было более 700.000 заключенных, и лагеря занимали громадную территорию в Красноярской Области. Как же это возможно, что никто не знал? Как это хранился секрет? Ведь у этих сотен тысяч заключенных были семьи, сослуживцы... Или тот, кто знал, от страха никогда этого слова не произносил?

Это время опять как-то путанно вспоминается; я пишу Игорю Александровичу, от него приходит ответ, я ему могу писать четыре раза в год, а от него, кажется, будет два письма... Он просит поскорее послать ему посылку с провизией; но не так-то просто найти в Ульяновске подходящие консервы или колбасу, сухари и прочее. Но мне помогают все набрать, что получше, и зашить пакет в суровое полотно. Первая посылка в Тайшет отбывает.

Вся моя жизнь нелегкой этой зимы складывается тяжело и уродливо; впрочем уроки у Кожевникова возобновляются, и Бэтти и дети очень со мной милы.

В середине декабря умирает от саркомы печени один из "реэмигрантов", приехавший на год раньше нас, Алексей Николаевич Никольский; мы знакомы с самого нашего приезда и продолжали у них бывать, но не очень часто. Алексей Николаевич корабельный инженер, был известен на Балтийском флоте, а во Франции жил годами на юге, в Ментоне, и на собственной машине возил по Франции американских туристов; жена его Евгения Николаевна не работала, занималась садом -- говорит, сад был один из лучших на всем побережье.

Очень приятный человек Никольский, видный, прямой -- как сержант в строю, не лишен юмора, всегда ровный и приветливый, мы с Никитой очень его любим. Жизнь его в Ульяновске, однако, не легко складывается -- но я не расспрашиваю,

как и что. А теперь начинают копать Ульяновское море, и вдруг он понадобился -- счастлив, что наконец при настоящем деле.

И вот внезапно, как подкошенный дуб, он валится -- в несколько недель от этого исполина остается какой-то обтянутый темной кожей скелет, мучения страшные, зуд по всему телу -- он с истерическими стонами расчесывает себе руки, ноги. Ужасно. Иду еще раз или два навестить его в больницу, но он, кажется, уже никого не узнает.

Алексей Николаевич умирает в то время, как я сама в больнице; в конце декабря иду к его вдове. Она уже записалась в очередь на место в старческий дом в Акшауте, это недалеко от Сызрани, в бывшем имении Поливановых, друзей Кривошеиных. Комната их стоит 300 рублей в месяц, жактовской так и не получили, и у Евгении Николаевны вопрос: как теперь целых полгода платить такие деньги? Через несколько дней иду опять к ней и предлагаю переехать на это время ко мне, только с условием выехать к друзьям на те две недели, что приедет в отпуск Никита. Она тут же с радостью соглашается, доживет этот месяц здесь, и в начале января переберется ко мне. Конечно, никакой платы я с нее не прошу, да и не приму.

Все оговорено, и я довольна, что не буду больше совсем одна, мне вдруг это стало не под силу.

## **Ночь под Новый Год**

Раз в Крещенский вечерок

Девушки гадали...

*В. Жуковский*

Прошлый Новый Год я встречала у Провальских, но в этом году благодарю и отказываюсь; во-первых, когда я шла к ним, то чуть не замерзла по дороге: я не посмотрела не градусник, выходя -- оказалось, что было 37° мороза! На углу улицы Толстого и Гончаровки у меня внезапно почти отнялись ноги и я еле-еле дошла. Да и у них очень уж откровенно идут ссоры и столкновения, и Мишель Провальский с яростью обзывает жену дурой, уродом и чуть не плюет на нее... а она при мне плачет. Они усыновили два года назад маленького чуваша, но от этого их жизнь пошла, пожалуй, еще хуже, и мальчик становится у них предметом раздора и столкновений.

Любищевы на Новый Год никогда никого не зовут; я решила, что хоть и в одиночестве, рано не лягу, устрою себе закуску -- и дождусь поздравления Ворошилова по радио. Прошу моего слепого ученика Костю купить мне сто грамм столичной, покупаю какие-то анчоусы в вечном томатном соусе, немного колбасы, благо ее "выкинули" под Новый Год, сооружаю себе картофельный салат... и красиво накрываю стол чистым полотенцем; ставлю себе тарелку, рюмку

(серебряную, еще из Парижа, куплены были на знаменитом "Блошином рынке") и расставляю все в кружок не блюдечках, так, чтобы в наступающем году у меня это все было: есть тарелка с хлебом, белым и черным, с сахаром, картофельный салат, соленые рыбки, колбаса! Есть специально тарелка и для Васьки, и даже мне на десерт яблоко.

Настроение у меня неплохое, я уговариваю себя, что ведь это все же праздник, однако нервы перетянуты, мои медиумические силы опять меня захватили последнее время, и я вечно насторожена, боюсь что-то пропустить - какой-то знак, откуда - не знаю - надо слушать...

В половине двенадцатого сажусь за стол, устраиваю себе пыжик с анчоусом и... пью маленькую рюмку водки. Еще ем кусочек колбасы, несколько кусочков картошки -- нет, больше уж ничего съесть мне невозможно -- и я не притворяюсь больше, подумаешь, зачем этот "театр для себя"? Даю Ваське его порцию угощения, из радио льются вальсы и народные песни.

И внезапно решаю нарушить запрет, данный мной самой себе: вынимаю карты и... решаю себе погадать; полной игры класть не буду, а вот только девять карт, те, которые обычно кладутся в самом конце.

Выкинуть из колоды мелкие карты -- двойку, тройку, четвертку и пятерку; остается тридцать шесть карт, как оно и полагается, как меня еще учила моя бабушка, Надежда Викторовна, когда мне было двенадцать лет... Закрываю глаза и тасую. И ложится: король треф, валет треф и... дама треф... Я потрясена -- ведь это же мы, это наша семья! Ну, еще шесть карт -- и вот рядом с дамой треф ложится туз пик, девятка пик и десятка пик... Нет! Нет! Дальше не надо раскладывать -- и так все ясно: мы все трое в будущем году будем вместе, а вот мне, и именно мне, грозит смертельная опасность... она тут, совсем рядом со мной и видимо, очень скоро.

Смешиваю карты, браню себя -- зачем гадала? Ведь я могла бы и не знать, что меня скоро ждет что-то безмерно страшное. Живо убираю все со стола, наливаю себе чай -- а вот и Ворошилов поздравляет всех, гимн и -- скорее в кровать...

Долго ворочаюсь, слегка дремлю, а потом лежу с открытыми глазами -- тревога у меня растет: это верно, где-нибудь мы соединимся (уж не в Тайшете ли?), а потом я сразу погибну.

Через неделю, 7-го января, ко мне переезжает Никольская, с ней большой сундук и чемодан, она устраивается на Никитиной кровати. Ей совсем недавно, во время болезни мужа, делали глазную операцию, и теперь запрещено нагибаться или поднимать тяжелые вещи.

После новогодних каникул начинаю снова по утрам ходить к Кожевниковым; если только узнаю, что Игорь Александрович получил мою посылку, то в конце января опять пошлю...

Двенадцатого января утром на уроке Таня говорит мне, что две ее подруги в школе просят меня с ними заниматься английским и будут ждать после уроков у входа в школу. Чудный день, морозный, всего --15°, это теперь и для меня ничего, я как-то к морозу привыкла, а вот ночью был сильный ветер, и улицы совершенно обледенели. Почему я в этот день не взяла свою альпийскую палку? Ведь без нее зимой не хожу. Ну, верно, уж потому, что было суждено!..

Перехожу небольшую площадь совсем рядом с домом по пути в школу, на углу площади обычная картина: стоит вол, запряженный в особые сани, там бочка с керосином, и уж порядочная очередь с бидонами - возница только еще не спеша собирается начать продажу. Потом... Больше ничего нет -- ни площади, ни очереди, и меня тоже нет; внезапно какая-то молния боли сотрясает меня, и я открываю глаза, надо мной голубое синее небо; я лежу на левом боку на снегу, сумка и книги выпали из рук, потом слышу стоны, сперва очень слабые, слышу говор из очереди за керосином... Нестерпимая боль в левом плече не дает мне двинуться, или хоть пошевелиться... Не знаю, сколько это длится -- хочу позвать на помощь, не получается. Слышу, кто-то говорит в очереди: "Что это она так долго лежит?" И еще через некоторое время другой голос: "А может скорую помощь вызвать?" Но никто, никто из очереди так и не подходит на меня поглядеть -- ведь не пропускать же керосин!

Я верно уж порядочно так лежу, слышу, как стону все громче... Неужели мне будет конец на льду, ведь когда-нибудь кто-нибудь да пройдет мимо меня? Вдруг надо мной появляются девичьи лица, это девочки из школы, куда я как раз шла; они бросаются ко мне, с усилием меня поднимают, подбирают сумку, книги. Видно, знают, кто я. Они ведут меня с передышками в тупичок, ведь я только вышла из дома; начинаю понемногу произносить отдельные слова: "ключи в кармане", "пойдите к Афанасьевым за два дома, там телефон, вызовите неотложку", "позовите поскорее в соседнем доме направо Екатерину Николаевну Венцер". Девочки все быстро исполняют, их милые лица меня немного утешают, однако я уж отлично понимаю, что это катастрофа, что могу остаться инвалидом, боль в плече все нестерпимее.

Прибегает Екатерина Николаевна, хочет снять с меня шубу -- нет, подождем неотложку; передо мной на столе стоят часы, они у нас от отца Игоря Александровича, он их купил, когда еще не был женат... Ровно через шесть минут приезжает неотложка -- быстро! Врач снимает с меня шубу, я кричу от боли -- он говорит: "Плечо сломано, везти в больницу, без снимка ничего сделать нельзя".

Екатерина Николаевна едет со мной, больница далеко, почти у вокзала. Потом мы сидим в прихожей в больнице, и меня четыре раза водят на снимки, упирают сломанным плечом в ледяной мрамор, а снимки все не получаются. Наконец кто-то что-то решает, и меня ведут класть гипс. Хирург говорит сестре: "Смотрите, какой перелом ужасный: это ведь вколоченный (?), это нелегко будет". Сестра не переставая дает мне нюхать нашатырный спирт. Наконец готово, и она говорит мне: "Что ж, поезжайте домой". Я ей объясняю, что живу одна, а сейчас со мной поселилась пожилая женщина -- ей только что делали операцию глаз, и она ничего

делать не может, и прошу меня госпитализировать. "Нет, -- отвечает сестра, больница переполнена, свободных коек нет". Я протестую, наконец она говорит: "Знаете, если из-за каждой сломанной руки или ноги людей госпитализировать, так надо бы еще одну больницу построить".

Я ей злобно отвечаю: "Что же, это неплохо было бы, ведь эта больница еще при Александре Втором построена, а с тех пор больше и не собрались". Она ведет меня в коридор -- там в шесть рядов стоят койки с больными и посередине узкий проход.

-- Хотите сюда? -- спрашивает она.

-- Да нет, вы правы, пожалуй уж лучше дома. Она дает мне две коробочки: в одной шесть таблеток морфия, в другой -- шесть таблеток пирамидона.

-- Вот, -- говорит она, -- принимайте аккуратно, а больше дать вам нечего.

Это -- двенадцатое января; подробно описывать эту неделю?.. Да к чему, собственно? Всякий и сам может вообразить, как было; мороз лютый, почти --25°, через неделю --30°, --35° и так до конца февраля. -- Кто приносит мне еду? Кто вносит дрова с улицы? -- Не помню. Я почти не сплю, лечь на громадное сооружение из гипса, которое сковывает мне левую руку от кисти и дальше на спине ниже лопатки - невыносимо; лечь на правую руку-- немногим легче; в неделю шесть таблеток морфия уже исчерпаны, остается пирамидон...

Двадцатого января вечером (в комнате лампа завешана каким-то красным платком, чтобы Евгении Николаевне не резало глаза) -- я мотаюсь из угла в угол и курю. На улице вьюга, ветер в трубе подвывает... вдруг в сени стучат, а уж почти одиннадцать часов. Евгения Николаевна накидывает мне шубу на плечи, теплую шапку на голову, ведь в сенях холодно, как на улице.

-- Кто там? -- спрашиваю.

-- Откройте, откройте, -- голос женский.

-- А что вам?

Голос отвечает: "Вам телеграмма".

Ну, нет, эти штучки мы все знаем: откроешь, а там два-три молодца и ножик в руке...

Говорю: "Если есть телеграмма, подсуньте ее под дверь, а то, кто его знает, может это и не так".

Женский голос наконец кричит: "Нина Алексеевна, да это я, Маруся, ваш почтальон, ужели и голос мой не узнаете?"

Я открываю, и впрямь это Маруся... она поражена:

-- Что это с вами? Руку что ли сломали? А чего же так свет занавешиваете?

Она подает мне телеграмму, я расписываюсь и хочу ее скорей отпустить домой, она ужасно милая, Маруся, вот из-за какой-то несчастной телеграммы принуждена в такой мороз ночью ко мне бегать. Но она не уходит:

-- Да вы телеграмму-то чего не читаете?

-- Да не к спеху, Маруся, я ее прочту, а вы идите домой, ведь, верно, замерзли совсем?

Маруся вдруг каким-то особым голосом говорит:

-- Ну, хотите, я вам ее прочту?

Как это не похоже на Марусю -- она всегда со мной вежлива и деликатна... Отвечаю ей сухо:

-- Да что вы думаете, мне ведь рука читать не мешает... Однако беру у ней телеграмму и читаю вслух:

"Папа сегодня прибыл Лубянку пересмотр дела начнется немедленно завтра свидание письмо следует Никита".

Маруся кидается меня обнимать и даже плачет: "Я и завтра утром могла вам принести, да нет, решила, уж пусть Нина Алексеевна сразу узнает... Ведь я таких телеграмм не первую сегодня ношу!"

Да, это все правда, вот так точно и было -- случилось непостижимое...